

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  БОЛЬШИЕ КНИГИ

Василий Аксёнов

Остров
КРЫМ



18+

Русская литература. Большие книги

Василий Аксенов

**Остров Крым. В поисках
жанра. Золотая наша Железка**

«Азбука-Аттикус»

1979, 1972, 1973

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Аксенов В. П.

Остров Крым. В поисках жанра. Золотая наша Железка /
В. П. Аксенов — «Азбука-Аттикус», 1979, 1972, 1973 — (Русская
литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-22461-2

В эту книгу вошел один из самых знаменитых романов Василия Аксенова, впервые увидевший свет в самиздате. Тогда и подумать было нельзя о том, что такая смелая выдумка автора – независимый Крым – практически станет реальностью. В 1981 году роман вышел в Америке, позже печатался в России, но с основательными купюрами и исправлениями. В книге содержится нецензурная лексика.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-22461-2

© Аксенов В. П., 1979, 1972, 1973
© Азбука-Аттикус, 1979, 1972, 1973

Содержание

Остров Крым	6
I. Приступ молодости	6
II. Программа «Время»	33
III. Хуемотина	36
IV. Любопытный эпизод	43
V. Проклятые иностранцы	51
VI. Декадентщина	76
Конец ознакомительного фрагмента.	103

Василий Аксенов
Остров Крым. В поисках
жанра. Золотая наша Железка

© В. П. Аксёнов (наследники), 2021

© А. А. Дейнека (наследники), иллюстрация на обложке, 2021

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство АЗБУКА®

Остров Крым

I. Приступ молодости

Всякий знает в центре Симферополя среди его сумасшедших архитектурных экспрессий дерзкий в своей простоте, похожий на очиненный карандаш небоскреб газеты «Русский Курьер». К началу нашего повествования, на исходе довольно сумбурной редакционной ночи, весной, в конце текущего десятилетия или в начале будущего (зависит от времени выхода книги), мы видим издателя-редактора этой газеты сорокашестилетнего Андрея Арсеньевича Лучникова в его личных апартаментах, на «верхотуре». Этим советским словечком холостяк Лучников с удовольствием именовал свой плейбойский пентхауз.

Лучников лежал на ковре в йоговской позе абсолютного покоя, пытаясь вообразить себя перышком, облачком, чтобы затем и вообще как бы отлететь от своего восьмидесятикилограммового тела, но ничего не получалось, в голове все время прокручивалась редакционная шелуха, в частности невразумительные сообщения из Западной Африки, поступающие на телетайпы ЮПИ и РТА: то ли марксистские племена опять ринулись на Шабу, то ли, наоборот, команда европейских головорезов атаковала Луанду. Полночи возились с этой дребеденью, звонили собору в Айвори, но ничего толком не выяснили, и пришлось сдать в набор невразумительное: «По неопределенным сообщениям, поступающим из...»

Тут еще последовал совершенно неожиданный звонок личного характера: отец Андрея Арсеньевича просил его приехать, и непременно сегодня.

Лучников понял, что медитации не получится, поднялся с ковра и стал бриться, глядя, как солнце в соответствии с законами современной архитектуры располагает утренние тени и полосы света по пейзажу Симфи.

Когда-то был ведь заштатный городишко, лежащий на унылых серых холмах, но после экономического бума ранних сороковых Городская управа объявила Симферополь полем соревнования самых смелых архитекторов мира, и вот теперь столица Крыма может поразить любое туристское воображение.

Площадь Барона, несмотря на ранний час, была забита богатыми автомобилями. Уик-энд, сообразил Лучников и стал активно включаться на своем «Питере-турбо», подрезать носы, гулять из ряда в ряд, пока не влетел в привычную улочку, по которой обычно пробирался к Подземному Узлу, привычно остановился перед светофором и привычно перекрестился. Тут вдруг его обожгло непривычное: на что перекрестился? Привычной старой церкви Всех Святых, в Земле Российской Воссиявших, больше не было в конце улочки, на ее месте некая овальная сфера. На светофор, значит, перекрестился, ублюдок? Совсем я зашорился со своей «идеей», со своей газетой, отца Леонида уже год не посещал, крещусь на светофоры.

Эта его привычка класть кресты при виде православных маковок здорово забавляла новых друзей в Москве, а самый умный друг Марлен Кузенков даже увещевал его: Андрей, ведь ты почти марксист, но даже и не с марксистской, с чисто экзистенциальной точки зрения смешно употреблять эти наивные символы. Лучников в ответ только ухмылялся, и всякий раз, увидев золотой крест в небе, быстренько, как бы формально, отмахивал знамение. Он-то как раз казнил себя за формальность, за суетность своей жизни, за удаление от Храма, и вот теперь ужаснулся тому, что перекрестился просто-напросто на светофор.

Мутная изжога, перегар газетной ночи, поднялась в душе. Симфи даже ностальгии не оставляет на своей территории. Переключили свет, и через минуту Лучников понял, что овальная, пронизанная светом сфера – это и есть теперь церковь Всех Святых, в Земле Российской Воссиявших, последний шедевр архитектора Уго ван Плюса.

Автомобильное стадо вместе с лучниковским «Питером» стало втягиваться в Подземный Узел, сплетение тоннелей, огромную развязку, прокрутившись по которой машины на большой скорости выскакивают в нужных местах Крымской системы фривеев. По идее, подземное движение устроено так, что машины набирают все большую скорость и выносятся на горбы магистралей, держа стрелки уже на второй половине спидометров. Однако идею эту с каждым годом осуществить становилось труднее, особенно во время уик-эндов. Скорость в устье тоннеля была не столь высока, чтобы нельзя было прочесть аршинные буквы на бетонной стенке ворот. Этим пользовались молодежные организации столицы. Они спускали на канатах своих активистов, и те писали яркими красками лозунги их групп, рисовали символы и карикатуры. Зубры в Городской Думе требовали «обуздать мерзавцев», но либеральные силы, не без участия, конечно, лучниковской газеты, взяли верх, и с тех пор сорокаметровые бетонные стены на выездах из Узла, измазанные сверху донизу всеми красками спектра, считаются даже чем-то вроде достопримечательностей столицы, чуть ли не витринами островной демократии. Впрочем, в Крыму любая стенка – это витрина демократии.

Сейчас, выкатываясь из Восточных ворот, Лучников с усмешкой наблюдал за трудом юного энтузиаста, который висел паучком на середине стены и завершал огромный лозунг «Коммунизм – светлое будущее всего человечества», перекрывая красной краской многоцветные откровения вчерашнего дня. На заду паренька на выцветших джинсах красовался сверкающий знак «серп и молот». Временами он бросал вниз, в автомобильную реку, какие-то пакетики-хлопушки, которые взрывались в воздухе, опадая агитационным конфетти.

Лучников посмотрел по сторонам. Большинство водителей и пассажиров не обращали на энтузиаста никакого внимания, только через два ряда слева из «каравана-фольксвагена» махали платками и делали снимки явно хмельные британские туристы да справа рядом в роскошном сверкающем «руссо-балте» хмурил брови пожилой врэвакуант.

Вылощенный, полный собственного достоинства мастодонт чуть повернул голову назад и что-то сказал своим пассажирам. Два мастодонтихи поднялись из мягчайших кожаных глубин «руссо-балта» и посмотрели в окно. Пожилая дама и молодая, обе красавицы, не без интереса, прищуренными глазами взирали – но не на паучка в небе – на Лучникова. Белогвардейская сволочь. Наверное, узнали: позавчера я был на ТВ. Впрочем, все врэвакуанты так или иначе знают друг друга. Должно быть, эти две сучки сейчас обсуждают, где они меня могли встретить – на вторниках у Беклемишевых, или на четвергах у Оболенских, или на пятницах у Нессельроде... Стекла в «руссо-балте» поползли вниз.

– Здравствуй, Андрей Арсеньевич!

– Медам! – восторженно приветствовал попутчиц Лучников. – Исключительно рад! Вы замечательно выглядите! Едете для гольфа? Между прочим, как здоровье генерала?

Любого врэвакуанта можно смело спрашивать «между прочим, как здоровье генерала»: у каждого из них есть какой-нибудь одряхлевший генерал в родственниках.

– Вы, должно быть, не узнали нас, Андрей Арсеньевич, – мягко сказала пожилая красавица, а молодая улыбнулась. – Мы Нессельроде.

– Помилуйте, как я мог вас не узнать, – продолжал ерничать Лучников. – Мы встречались на вторниках у Беклемишевых, на четвергах у Оболенских, на пятницах у Нессельроде...

– Мы сами Нессельроде! – сказала пожилая красавица. – Это Лидочка Нессельроде, а я Варвара Александровна.

– Понимаю, понимаю, – закивал Лучников. – Вы Нессельроде, и мы, конечно же, встречались на вторниках у Беклемишевых, на четвергах у Оболенских и на пятницах у Нессельроде, не так ли?

– Диалог в стиле Ионеско, – сказала молодая Лидочка.

Обе дамы очаровательно оскалились. «Что это они так любезны со мной? Я им хамлю, а они не перестают улыбаться. Ах да, ведь в этом сезоне я жених. Левые взгляды не в счет,

главное – я сейчас „жених из врэвакуантов“. В наше время, милочка, это не так уж часто встретишь».

– Вы, должно быть, сейчас припустите на своем «турбо»? – спросила Лидочка.

– Иес, мэм. – Американский ответ Лучникова прозвучал весьма подозрительно для ушей русских дам.

– Наш папочка предпочитает «руссо-балт», а значит, плавное, размеренное движение, не лишенное, однако, стремительности. – Лидочка Нессельроде пыталась удержаться в «стиле Ионеско».

– Это сразу видно, – сказал Лучников.

– Почему? – спросила Варвара Александровна. – Потому что он ваш политический оппонент?

«Он, оказывается, мой политический оппонент!»

– Нет, сударыня, я сразу понял, что ваш папочка предпочитает «руссо-балт», когда я увидел его за рулем «руссо-балта».

Господин Нессельроде повернул голову и что-то сказал.

– Михал Михалыч интересуется, как здоровье Арсения Николаевича? – Именно в таком виде Варвара Александровна вынесла на поверхность высказывание супруга.

Глянув на летящие впереди на одной скорости автомобили и сообразив, что сейчас начнется подъем и стадо будет прорезаться, Лучников слегка сдвинул руль, приблизился к «руссо-балту» едва ли не вплотную и зашептал горячим шепотом чуть ли не в ухо госпоже Нессельроде:

– Я как раз еду к отцу и, значит, узнаю о его здоровье. Немедленно телеграфирую вам или позвоню. Давайте вообще сблизимся по мере возможностей. Я немолод, но холост. Левые взгляды не в счет. Лады?

Лучников поджал педаль газа, и его ярко-красный с торчащим хвостом спортивный зверь, рывкая турбиной, ринулся вперед, запетлял, меняя ряды, пока не выбрался из стада и не стал на огромной скорости уходить вверх по сверкающему на солнце горбу Восточного Фривея.

ВФ, вылетая из Симфи, набирает едва ли не авиационную высоту. Легчайший серебристый виадук с кружевами многочисленных съездов и развязок, чудо строительной техники. «Приезжайте в Крым, и вы увидите пасторали XVIII века на фоне архитектуры XXI века!» – обещали туристские проспекты и не ври.

«Откуда все-таки взялось наше богатство?» – в тысячный раз спрашивал себя Лучников, глядя с фривея вниз на благодатную зеленую землю, где мелькали прямоугольные, треугольные, овальные, почковидные пятна плавательных «пулов» и где по выюющимся местным дорогам медленно в больших «кадиллаках» ездили друг к другу в гости зажиточные яки. Аморально богатая страна.

Он вспомнил Южную дорогу, или, как они говорят в Союзе, «трассу». Недавно они ехали по ней на «Волге» со старым московским другом Лучникова, разжалованным кинорежиссером Виталием Гангутом.

Как назывался тот городок, где мы зашли в магазин? Фанеж? Нет – Фатеж. Разбитый асфальт главной площади и неизменная фигура на постаменте. Был ли там Вечный огонь? Нет, кажется, только областным центрам полагается по статусу Вечный огонь. Да, в Фатеже не было Вечного огня. Хотя бы Вечного огня там не было.

– Сейчас увидишь наше изобилие, – сказал Виталий.

В магазине у прилавка стояли несколько женщин. Они обернулись и молча смотрели на вошедших. Может быть, приняли за иностранцев – странные сумки через плечо, странные куртки... Пока мы ходили и осматривали прилавки, женщины все время молча глядели на нас, но тут же отворачивались, если мы замечали это.

В общем, здесь не было ничего. Впрочем, не нужно преувеличивать, вернее, преуменьшать достижений: кое-что здесь все-таки было – один сорт конфет, влажные вафли, сорт печенья, рыбные консервы «Завтрак туриста»... В отделе под названием «Гастрономия» имелось нечто страшное – брикет мороженой глубоководной рыбы. Спрессованная индустриальным методом в здоровенную плитку, рыба уже не похожа была на рыбу, лишь кое-где на грязно-красной поверхности брикета виднелись оскаленные пасти, явившиеся в Фатеж из вечной мглы.

– Я вижу, у вас тут не все есть, – с подлой улыбочкой сказал женщинам Гангут.

– А что вам надо? – хмуро поинтересовались женщины.

– Сыру, – пробормотал Луч. – Хотели сырку купить. – Чудесная склонность советского населения к уменьшительным обозначениям продуктов была ему давно известна.

Женщины мило заулыбались. Вот эта способность русских баб мгновенно переходить от хмурости, мрачной настороженности к душевной теплоте – вот это клад! Непонятный чужой человек вызывает подозрительность, человек же, желающий сырку, сразу становится понятен, мил и сразу получает добрую улыбку.

– Сыр? Это у нас в военном городке бывает почти регулярно, – охотно стали объяснять женщины. – Двенадцать километров отсюда военный городок, сразу увидите.

– Понятно, понятно, – закивал Луч. – Мы на машине, это несложно...

– А масло? – продолжал провоцировать Гангут. – А насчет колбаски?

Однако лед был расколот, и ехидство московского интеллектуала пропало втуне.

– А это вам надо, друзья, в Орел ехать, – поясняли женщины. – У нас тут, врать не будем, колбасы не бывает. Масло иной раз подвозят, а за колбасу этого не скажешь. Надо в Орел ехать, и то с утра только. В этот час уж все продано. Вы сами-то, друзья, куда едете?

– В Москву.

– Ну, там всего навалом! – радостно зашумели женщины.

Они повернули к машине.

– Ну, как по-твоему, что моральнее: супермаркет «Елисеев и Хьюз» или гастрономия в городе Фатеж? – спросил Гангут.

– Не знаю, что моральнее, но «Елисеев и Хьюз» – аморальнее, – мрачно ответил Луч.

– Значит, вечное издевательство над людьми и вечная тупая покорность менее аморальны? Тогда позволь тебе преподнести советский сувенир из глубины России, отвези его на Остров и угости друзей.

Гангут протянул Лучникову плоскую банку консервов. По боку банки вилась призванная возбуждать аппетит надпись: «Кальмар натуральный обезглавленный».

Воспоминания об этой банке, о городке Фатеж и еще какая-то гадость угнетали Лучникова. «Питер» гудел на высотной стальной дороге, солнце заливало благословенный край, в стекле спидометра отражались рыжие усы Лучникова, которые всегда ему были по душе, но весь сегодняшний день основательно угнетал Андрея Лучникова, и он ехал сейчас к отцу в дурном настроении. Кальмар натуральный обезглавленный? Такого рода воспоминания о континенте присутствовали всегда. Невразумительное сообщение из Западной Африки? Перекрестился на светофор? Встреча с этими дурацкими Нессельроде? Возраст, в конце концов, паршивое увеличение цифр.

Все это, конечно, дрянь, но дрянь обычная, нормальная. Между тем Лучникова – вот наконец-то нащупал! – угнетала какая-то странная тревога, необычное беспокойство. Что-то мелькнуло особенное в голосе отца, когда он произнес: «Нет, приезжай обязательно завтра». Что же это? Да просто-напросто слово «обязательно», столь несвойственное отцу. Он, кажется, никогда не говорил, даже в детстве Андрея, «ты обязательно должен это сделать». Сослагательное наклонение – вот язык Арсения Николаевича. «Тебе бы следовало сесть за книги...» «Я предложил бы обществу поехать на море...» В таком роде общался старый доброволец с окружающими. Явно вымученный императив в устах отца беспокоил и угнетал сейчас Лучникова.

Они виделись не так уж редко: собственно говоря, их разделяли всего один час быстрой езды по Восточному и полчаса кружения по боковым съездам и подъемам. Арсений Николаевич жил в своем большом доме на склоне Сюрю-Кая, и Андрей Арсеньевич любил бывать там, выбегать утром на плоскую крышу, ощущать внизу огромное свежайшее пространство, взбадриваться прыжками с трамплина в бассейн, потом пить кофе с отцом, курить, говорить о политике, следить за перемещением ярко раскрашенных турецких и греческих тральщиков, что промышляли у здешних берегов под присмотром серой шучки, островной канонерки. Крымчане берегли свои устричные садки, ибо знаменитые крымские устрицы ежедневно самолетами отправлялись в Париж, Рим, Ниццу, Лондон, а оставшиеся, самые знаменитые, подавались на стол в бесчисленных туристских ресторанчиках. Налоги же с устричных хозяйств шли напрямую в военное министерство, так что шука-канонерка берегла эти поля с особым тщанием.

Перед началом серпантина на Сюрю-Кая Лучников на минуту остановился у обочины. Он всегда так делал, чтобы растянуть чудесный миг – появление отцовского дома на склоне. Широчайшая панорама Коктебельской бухты открывалась отсюда, и в правом верхнем углу панорамы прямо под скальными стенами пилы-горы тремя белыми уступами зиждился отцовский дом.

Собственно говоря, здесь тоже не было никакой ностальгии. Арсений Николаевич построился здесь каких-нибудь восемь-десять лет назад, когда бурно разрослись в Восточном Крыму его конные заводы. В те времена параллельно с лошадиным бизнесом невероятно выросла и популярность Лучникова-старшего среди островного общества. Определенные круги даже намекали Арсению Николаевичу, что было бы вполне уместно выставление его кандидатуры на выборах Председателя Временной Думы, то есть практически крымского президента. Блестящих данных, дескать, Арсению Лучникову не занимать: один из немногих оставшихся участников Ледяного похода, боевой врэвакуант, профессор-историк, персона, «вносящая огромную лепту в дело сохранения и процветания русской культуры», и в то же время европеец с огромными связями в западном мире, да к тому же еще и миллионер-конно-заводчик, «способствующий экономическому процветанию Базы Временной Эвакуации», то есть Острова Крыма.

Уже и еженедельники начали давать репортажи об Арсении Лучникове, о его удивительном доме на диком склоне, о натуральной ферме за Святой горой, о новой породе скаковых лошадей, выведенной на его заводах. Стал уже создаваться имидж, «Лучников – Лук» – длинный худой старик со смеющимися глазами, одетый как юноша: джинсы и кожаная куртка.

Трудно сказать, намеренно или случайно отрезал себе Арсений Николаевич пути к президентству. Однажды в телеинтервью в ответ на вопрос: «А вас не смущает, что ваш удивительный дом стоит в сейсмически опасной зоне?» – он ответил:

– Было бы смешно жить на Острове Крым и бояться землетрясений.

Эта фраза вызвала бурный всплеск фаталистического веселья и странной бодрости: как смешно, в самом деле, бояться землетрясений под радарам, ракетами и спутниками красных, в восьмидесяти километрах от супердержавы, любимой и трижды проклятой исторической родины – СССР.

Однако вряд ли автор такого афоризма, способного восхитить снобов Симфи и космополитический сброд Ялты, может претендовать на президентское кресло. Пока еще ключи к политике Острова лежат в ладонях патриотов, истинных врэвакуантов, потомственных военных, сохраняющих уверенность в своих силах, стерегущих Крым до светлого дня Весеннего похода, до Возрождения Отчизны. Что касается современных левиафанов, милостивые государи, то... не нужно, конечно, обольщаться, но нельзя и забывать о нашем герое лейтенанте Бейли-Лэнде, и почему не вспоминать иногда о примере Израиля, о Давиде и Голиафе, о собственном славном опыте, когда небольшие наши, но ультрасовременные «форсиз» в течение недели перемолотили огромную турецкую армию и заставили современных янычар заключить

пакт дружбы. Так что, несмотря на постоянную и страшную опасность и даже именно в связи с этой опасностью, нам не нужен в президентах потенциальный пораженец. К тому же, господа, не грех вспомнить и о сыне, об Андрее Лучникове, этом вполне едва ли не коммунисте, который не вылезает из Москвы. Помилуйте, господа, но это уже не дело. Рассуждая таким образом, мы уподобляемся цэкистам-гэбистам, ущемляем священные принципы нашей демократии, да и какой Андрюша коммунист, я его знаю с детских лет. Хорошо, было бы уместно прекратить эту дискуссию, тема, кажется, исчерпана...

Примерно так представлял себе Лучников обсуждение «в кругах» кандидатуры своего отца. Он вспомнил об этом деле и сейчас, кружа по серпантину Сюрю-Кая и приближаясь к «Каховке».

Как всегда, мысль о «кругах» наполнила его темным гневом. Паяцы и мастодонты, торгаши и дебилы, всерьез рассуждают, видите ли, о Возрождении! Богатые и безнравственные смеют считать себя хранителями русской культуры. С детства они талдычат нам о зверствах большевиков, но разве и вы не были зверьми? Красные расстреливали тысячами, вы вешали сотнями: нет, не белое знамя вы несли с Юга и Востока к Кремлю, но черное с кровью. Жажда мщения двигала вашими батальонами. Либералы вроде моего юнкера-отца или самого генерала Деникина не решались произнести при вас слово «республика», не решались заикнуться о разделе земли. Как красные презирали разогнанную «учредилку», так и вы ненавидели Учредительное выборное собрание российского народа. Даже и после поражения вы охотились за Милюковым, убили Набокова-старшего, а какой была бы охота после вашей победы? Вот и сейчас шесть десятилетий вы на своей Базе Временной Эвакуации наслаждаетесь комфортом, свободой и спокойствием, в то время, когда наш народ кровью истекал под сталинскими ублюдками, отражал с неслыханными жертвами нашествие наглых иностранных орд, прозябает в бесправии, темноте духовной, скудости и лжи и снова жертвует лучшими своими детьми, в то время, когда такие сложнейшие и драматические процессы происходят в России, вы все еще талдычите вставными челюстями о Весеннем походе...

Звук сирены сверху отвлек Лучникова от этих мыслей. Он притормозил и увидел прямо над собой за зарослями кизиловых кустов длинную фигуру отца в выцветшей голубой рубашке. Отец махал ему рукой и что-то кричал. За спиной у него светила странная при ярком солнце фара маленького желтого бульдозера. Очевидно, именно из бульдозера он и просигналил сиреной.

– Андрей, не разгоняйся! – кричал отец.

Лучников медленно проехал вираж.

Молодой походкой, размахивая руками со свойственной ему внешней беззаботностью, отец шел навстречу.

– Вчера здесь случился камнепад, – объяснил он. – Я сейчас тут расчищаю бульдозером. Олл райт, закончу после обеда.

Арсений сел в машину к Андрею, и они медленно перевалили через опасный участок.

– Ну а теперь можно как обычно, – улыбнулся отец. – Не потерял еще класс?

Лучников до тридцати лет занимался автогонками почти профессионально, но никогда на шоссе или в городе этого не показывал, лишь на горных дорогах охватывал его иногда мальчишеский раж. Он подумал, что, может быть, отцу будет приятно увидеть в этом рыжем с седой морщинистом дядьке прежнего своего любимого мальчишку, и стал подхлестывать свой «Питер» толчками по педали. Турбина рывкала. Они выскакивали на виражи, казалось, для того, чтобы лететь дальше в небо и в пропасть, но резко переключался руль, выдергивалась кулиса, и со скрежетом на двух колесах – два других в воздухе – «Питер» вписывался в поворот.

– Bravo! – сказал отец, когда они влетели во двор «Каховки» и остановились мгновенно и точно в квадрате паркинга.

Резиденция Лучникова-старшего называлась «Каховкой» неспроста. Как раз лет десять назад Андрей привез из очередной поездки в Москву несколько грампластинок. Отец снисходительно слушал советские песни, как вдруг вскочил, пораженный одной из них.

Каховка, Каховка,
родная винтовка,
горячая пуля, лети!

.....

Гремела атака, и пули свистели,
и дробно стучал пулемет,
и девушка наша
в походной шинели,
горящей Каховкой идет.

Ты помнишь, товарищ,
как вместе сражались,
как нас оведала гроза?
Тогда нам с тобою сквозь дым улыбались
ее голубые глаза.

Отец прослушал песню несколько раз, потом некоторое время сидел молча и только тогда уже высказался:

– Стихи, сказать по чести, не вполне грамотные, но, как ни странно, эта комсомольская романтика напоминает мне собственную юность и наш юнкерский батальон. Ведь я дрался в этой самой Каховке... И девушка наша Верочка, княжна Волконская, шла в шинели... по горящей Каховке...

Прелюбопытным образом советская «Каховка» стала любимой песней старого врэвакуанта. Лучников-младший, конечно же, с удовольствием подарил отцу пластинку: еще один шаг к Идее общей судьбы, которую он проповедовал. Арсений Николаевич сделал магнитную запись и послал в Париж, тамошним батальонцам: «Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались...» Из Парижа тоже пришли восторженные отзывы. Тогда и назвал старый Лучников свой новый дом на Сюрю-Кая «Каховкой».

– Еще не потерял класс, Андрюша.

Отец и сын постояли минуту на солнышке, с удовольствием глядя друг на друга. Разно-высокие стены строений окружали двор: галереи, винтовые лестницы, окна на разных уровнях, деревья в кадках и скульптуры.

– Я вижу, у тебя новинка, – сказал Андрей. – Эрнст Неизвестный...

– Я купил эту вещь по каталогу, через моего агента в Нью-Йорке, – сказал Арсений и добавил осторожно: – Неизвестный, кажется, сейчас в Нью-Йорке живет?

– Увы, – проговорил Андрей, приблизился к «Прометею» и положил на него руку. Сколько раз он видел эту скульптуру и трогал ее в мастерской Эрика, сначала на Трубной, потом на улице Гиляровского.

Они прошли в дом и через темный коридор с африканскими масками по стенам вышли на юго-восточную, уступчатую, многоэтажную часть строения, висящую над долиной. Появился древний Хуа, толкая перед собой тележку с напитками и фруктами.

– Ю узлам Андрюса синочек эз юзуаль канисна, – прошипел он сквозь остатки зубов, похожие на камни в устье Янцзы.

– Ты видишь, не прошло и сорока лет, а Хуа уже научился по-русски, – сказал отец.

Китаец мелко-мелко затрясся в счастливом смехе. Андрей поцеловал его в коричневую щеку и взял здоровенный бокал водкатины.

– Сделай нам кофе, Хуа.

Арсений Николаевич подошел к перилам веранды и позвал сына – глянь, мол, вниз – там нечто интересное. Андрей Арсеньевич глянул и чуть не выронил водкатины: там внизу на краю бассейна стоял его собственный сын Антон Андреевич. Длинная и тонкая дедовская фигура Антошки, белокурые патлы перехвачены по лбу тонким кожаным ремешком, ярчайшие американские купальные трусы почти до колен. В расхлябанной наглой позе на лесенке бассейна стояло отродье Андрея Арсеньевича, его единственный сын, о котором он вот уже больше года ничего не слышал. В воде между тем плавали две гибкие девушки, обе совершенно голые.

– Явились вчера вечером пешком, с тощими мешками, грязные... – быстро, как бы извиняясь, заговорил Лучников-старший.

– Кажется, уже отмылись, – суховаато заметил Лучников.

– И отъелись, – засмеялся дед. – Голодные были, как акулы. Они приплыли из Турции с рыбаками... Позови его, Андрей. Попробуйте все-таки...

– Анто-о-ошка! – закричал Лучников так, как он кричал когда-то, совсем еще недавно, будто бы вчера, когда в ответ на этот крик его сын тут же мчался к нему большими скачками, словно милейший дурашливый пес.

Так неожиданно произошло и сейчас. Антон прыгнул в воду, бешеным кролем пересек бассейн, выскочил на другой стороне и помчался вверх по лестнице, крича:

– Хай, дад!

Как будто ничего и не было между ними: всех этих мерзких сцен, развода Андрея Арсеньевича с матерью Антона, взаимных обвинений и даже некоторых пощечин; как будто не пропал мальчишка целый год черт знает в каких притонах мира.

Они обнялись и, как в прежние времена, повозились, поборолось и слегка побоксиrowали. Краем глаза Лучников видел, что дед сияет. Другим краем глаза он замечал, как вылезают из бассейна обе дивы, как они натягивают на чресла ничтожные яркие плапочки и как медленно направляются вверх, закуривая и болтая друг с другом. Мысль о лифчиках, видимо, не приходила им в голову, то ли за неимением таковых, то ли за неимением и самой подобной мысли.

– Познакомьтесь с моим отцом, друзья, – сказал Антон девушкам по-английски. – Андрей Лучников. Дад, познакомься, это Памела, а это Кристина.

Они были очень хорошенькие и молоденькие, если и старше девятнадцатилетнего Антона, то ненамного. Памела, блондинка с пышной гривой выгоревших волос, с идеальными, будто бы скульптурными крепкими грудками. «Калифорнийское отродье вроде Фары Фасет», – подумал Лучников. Кристина была шатенка, а груди ее (что поделаешь, если именно груди девиц привлекали внимание Лучникова: он не так уж часто бывал в обществе передовой молодежи), груди ее были не столь идеальны, как у подружки, однако очень вызывающие, с торчащими розоватыми сосками.

Девицы вполне вежливо сказали «nice to meet you» – у Кристины был какой-то славянский акцент – и крепко, по-мужски пожали руку Лучникова. Они подчеркнуто не обращали внимания на свои покачивающиеся груди и как бы предлагали и окружающим не обращать внимания – дескать, что может быть естественнее, чем часть человеческого тела? – и от этой нарочитости, а может быть, и просто от голода у Лучникова зашевелился в штанах старый друг, и он даже разозлился: вновь возникала проклятая, казалось бы, изжитая уже в сумасшедшей череде дней зависимость.

– Вы, должно быть, из «уименс-либ», бэби? – спросил он девушек. Яростное возмущение. Девчонки даже присвистнули.

– Мы вам не бэби, – хрипловато сказала Кристина.

– Male chauvinist pig, – прорычала Памела и быстро, взволнованно стала говорить подружке: – Из их поколения этой гадости уже не выбьешь. Обрати внимание, Кристи, как он произнес это гнусное словечко «бэби». Как будто в фильмах пятидесятих годов, как будто солдат проституточкам!..

Лучников облегченно расхохотался: значит, просто обыкновенные дуры! Дружок в штанах тоже сразу успокоился.

– Ребята, вы не обижайтесь на моего дяди, – сказал Антон. – Он и впрямь немного олд-таймер. Просто вы его своими титьками взволновали.

– Простите, джентльмены, – сказал Лучников девушкам. – Я действительно невпопад ляпнул. Грехи прошлого. Почувствовал себя слегка в бордельной обстановке. Ведь я именно солдафон пятидесятих.

– Будем обедать, господа? – спросил Арсений Николаевич. – Здесь или в столовой?

– В столовой, – сказал Антон. – Тогда девки, может быть, оденутся. А то бедный мой папа не сможет съесть ни кусочка.

– Или съем что-нибудь не то, – пробурчал Лучников.

Отец и сын сели рядом в шезлонги.

– Где же ты побывал за этот год? – спросил Лучников.

– Спроси, где не был, – по-мальчишески ответил Антон.

Он сделал знак Хуа, и тот принес ему его драные, разлохмаченные джинсы. Антон вытащил из кармана железную коробочку из-под голландских сигар «Биллем II» и извлек оттуда самокруточку. Понятно – курум «грасс». Именно в присутствии отца закурить «грасс» – вот она свобода! Неужели он думал когда-нибудь, что я его буду угнетать, давить, ханжески ограничивать? Неужели он, как и эти две дурочки, считает меня человеком пятидесятих? Во всем мире меня считают человеком, определяющим погоду и настроение именно сегодняшнего дня, и только мой собственный сын нашел между нами generation gap. Не слишком ли примитивно? Во всех семьях говорят о разрыве поколений, значит и мы должны иметь эту штуку? Может быть, он не слишком умен? Провалы по части вкуса? В кого у него этот крупный нахальный нос? Невысокий, зарастающий по бокам лоб – в мамашу. Но нос-то в кого? Да нет, не откристишься – подбородок мой и зеркальные родинки: у меня над левой ключицей, у него – над правой, у меня справа от пупка, у него – слева, а фигура – в Арсения.

– Сейчас спрошу, где ты не был, – улыбнулся Лучников. – В Штатах не был?

– От берега до берега, – ответил Антон.

– В Индии не был?

– Сорок дней жил в ашраме. Пробирались даже в Тибет через китайские посты.

– Скажи, Антоша, а на что ты жил весь этот год?

– В каком смысле?

– Ну, на что ты ел, пил? Деньги на пропитание, короче говоря?

Антон расхохотался, слегка театрально.

– Ну, папа, ты даешь! Поверь мне, это сейчас не проблема для... ну для таких, как я, для наших. Обычно мы живем в коммунах, иногда работаем, иногда попрошайничаем. Кроме того, знаешь ли, ты, конечно, не поверишь, но я стал совсем неплохим саксофонистом...

– Где же ты играл?

– В Париже... в метро... знаешь там корреспонданс на Шатле...

– Дай затянуться, – попросил Лучников.

Антон вспомнил, что он курит, и тут же показал специфическую расслабленность, особую такую шикарную полуотрешенность.

– Это... между прочим... из Марокко... – пробормотал он как бы заплетающимся языком.

Все-таки – мальчишка.

– Я так и понял, – сказал Лучников, взял слюнявый окурок и втянул сладковатый дымок. Сладкая дрянь.

– Ба, вот странность, только сейчас заметил, что я спрашиваю тебя по-русски, а ты мне отвечаешь на яки. – Он внимательно разглядывал сына. Все-таки красивый парень, очень красивый.

– Это язык моей страны! – с неожиданной горячностью вскричал Антон. Веселости как не бывало. Глаза горят. – Я говорю на языке моей страны!

– Вот оно что! – сказал Лучников. – Теперь, значит, вот такие у нас идеи?

– Слушай, атац, ты меня опять подначиваешь. Ты со мной, я вижу, так и не научишься говорить серьезно. Яки! – Нотка враждебности, той старой, годичной давности, появилась в голосе Антона. – Яки! Яки, атац!

Атац, то есть отец, типичное словечко яки, смесь татарщины и русятины.

Уровнем ниже, в дверях столовой появилась фигура деда.

– Мальчики, обедать! – крикнул он.

Антон вылез из шезлонга и пошел по веранде, прыгая на одной ноге и на ходу натягивая джинсы. Обернулся.

– Да, я забыл тебе сказать, что я и в Москве твоей побывал.

– Вот как? – Лучников встал. – Ну и как тебе Москва?

– Блевотина, – с удовольствием сказал Антон и, почувствовав, что диалог закончился в его пользу, очень повеселел.

Дед явно любовался внуком. В дверях столовой Антон дружески ткнул Арсения плечом. Лучников-средний задержался.

– Арсений, это из-за него ты просил меня приехать обязательно сегодня. Он что – завтра испаряется?

– Нет-нет. Антошка мне ничего не говорил о своих планах. Не думаю, что эта троица так быстро нас покинет. Девочки первый раз на Острове. Антошка предвкушает роль гида. Новая культура яки и жизнь русских мастодонтов. К тому же рядом и Коктебель с его вертепами. Думаю, что американочкам на неделю хватит.

Арсений Николаевич вроде бы посмеивался, но Андрей Арсеньевич заметил, что глаза отца смотрят серьезно и как бы изучают его лицо. Это тоже было несвойственно старику Лучникову и пугало.

– Тогда почему же ты сказал «обязательно»? Просто так, а? Без особого значения?

«Если ответит „просто так, без особого значения“, то это самое худшее», – подумал Андрей Арсеньевич.

– Со значением, – улыбнулся отец, как бы угадавший ход его мыслей. – У нас сегодня к обеду Фредди Бутурлин.

– Да я его вижу чуть ли не каждый день в Симфи! – воскликнул Лучников.

– Нам нужно будет вечером поговорить втроем, – неожиданно жестким голосом – президент в кризисных паузах истории – проговорил Лучников-старший.

Они вошли в столовую, одна стена которой была стеклянной и открывала вид на море, скалу Хамелеон и мыс Крокодил. За столом уже сидели Памела, Кристина, Антон и Фредди Бутурлин.

Последний был членом Кабинета министров, а именно товарищем министра информации. Пятидесятилетний цветущий отпрыск древнего русского рода, для друзей и избирателей Фредди, а для врэвакуантов Федор Борисович, член партии к-д и спортклуба «Русский сокол», а по сути дела плебей без каких-либо особых идей, Бутурлин когда-то слушал лекции Лучникова-старшего, когда-то шлялся по дамочкам с Лучниковым-средним и потому считал их своими лучшими задушевыми друзьями.

– Хай, Эндрю! – Он открыл свои объятия.

– Привет, Федя! – ответил Лучников по правилам московского жаргона.

Памела и Кристина – боже! – преобразились: обе в платьях! Платья, правда, были новомодные, марлевые, просвечивающие, да еще и на узеньких бретельках, но все-таки соски молодых особ были прикрыты какими-то цветными аппликациями. Антоша сидел голый по пояс, только лишь космы свои слегка заправил назад, завязал теперь в пони-тэйл.

Седьмым участником трапезы был мажордом Хуа. Он отдавал распоряжения на кухню и официанту Таври, но то и дело присаживался к столу, как бы гордо демонстрируя, что он тоже член семьи, поворачивал по ходу беседы печеное личико, счастливо лучился, внимал. Вдруг беседа и его коснулась.

– Хуа – старый тайваньский шпион, – сказал про него Антон девушкам. – Это естественно, Крым и Тайвань, два отдаленных брата. В семьях врэвакуантов считается шикарным иметь в доме китайскую агентуру. Хуа шпионит за нами уже сорок лет, он стал нам родным.

– Что такое врэвакуанты? – Памела чудесно сморщила носик.

– Когда в тысяча девятьсот двадцатом году большевики вышибли моего дедулю и его славное воинство с континента, белые офицеры на Острове Крым стали называть себя «временные эвакуанты». Временный is temporary in English. Потом появилось сокращение «вр. эвакуанты», а уже в пятидесятых годах, когда основательно поблекла идея Возрождения Святой Руси, сложилось слово «врэвакуант», нечто вроде нации.

Отец и дед Лучниковы переглянулись: Антону и в самом деле нравилась роль гида. Фредди Бутурлин пьяновато рассмеялся: то ли он действительно набрался еще до обеда, то ли ему казалось, что таким пьяноватым ему следует быть в его «сокольской» плейбойской куртке, да еще и в присутствии хорошеньких девиц.

– Ноу, Тони, ноу, плиз донт... – погрозил он пальцем Антону. – Не вводи в заблуждение путешественниц. Врэвакуанты, май янг лэдис, это не нация. По национальности мы – русские. Именно мы и есть настоящие русские, а не... – тут бравый «сокол» слегка икнул, видимо вспомнив, что он еще и член кабинета, и закончил фразу дипломатично: —...А не кто-нибудь другой.

– Вы хотите сказать, что вы – элита, призванная править народом Крыма?! – выпалил Антон, перегнувшись через край стола.

«Что это он глаза-то стал так таращить? – подумал Лучников. – Уж не следствие ли наркотиков?»

– Не вы, а мы, – лукаво погрозил Бутурлин Антону вилкой, на которой покачивался великолепный шримп. – Уж не отделяешься ли ты от нас, Тони?

– Антон у нас теперь представитель культуры яки, – усмехнулся Лучников.

– Яки! – вскричал Антон. – Будущее нашей страны – это яки, а не вымороченные врэвакуанты, или обожравшиеся муллы, или высохшие англичане! – Он отодвинул локтем свою тарелку и зачастил, обращаясь к девушкам: – Яки – это хорошо, это среднее между «якши» и «о'кей», это формирующаяся сейчас нация Острова Крыма, составленная из потомков татар, итальянцев, болгар, греков, турок, русских войск и британского флота. Яки – это нация молодежи. Это наша история и наше будущее, и мы плевать хотели на марксизм и монархизм, на Возрождение и на Идею Общей Судьбы!

За столом после этой пылкой тирады воцарилось натянутое молчание. Девицы сидели с каменными лицами, у Кристины вздулась правая щека – во рту, видимо, лежало что-то непрожеванное, вкусное.

– Вы уж извините нас, уважаемые леди, – проговорил Арсений Николаевич. – Быть может, вам не все ясно. Это вечный спор славян в островных условиях.

– А нам на ваши проблемы наплевать, – высказалась Кристина сквозь непрожеванное и быстро начала жевать.

– Bravo! – сказал дед. – Предлагаю всему обществу уйти от битвы идей к реальности. Реальность перед вами. В центре стола омар, слева от него различные соусы. Салат с креветками вы уже отведали. Смею обратить внимание на вот эти просвечивающие листочки балаклавской ветчины, она не уступит итальянской прошутто. Вон там, в хрустале, черная горка с дольками лимона – улыбка исторической родины, супервалютная икра. Шампанское «Новый Свет» в рекламе не нуждается. В бой, господа!

Далее последовал очень милый, вполне нормальный обед, в течение которого вся атмосфера наполнялась веселым легким алкоголем, и вскоре все стали уже задавать друг другу вопросы, не дожидаясь ответа, и отвечать, не дожидаясь вопросов, а когда подали кофе, Лучников почувствовал на своем колене босую ступню Памелы.

– Этот тип, – говорила золотая калифорнийская дива, тыча в него сигарой, вынутой из рта Фредди Бутурлина, – этот тип похож на рекламу «Мальборо».

– А этот тип, – Кристина, взмахнув марлевым подолом, опустила голый задик на костлявые колени деда Арсения, – а этот тип похож на пастыря всего нашего рода. Пастырь белого племени! Джинсовый Моисей!

– Вы, девки! Не трогайте моих предков! – кричал Антон. – Папаша, можно я возьму твой «турбо»? Нельзя? Как это говорят у вас в Москве – жмот? Ты – старый жмот! Дед! Одолжи на часок «роллс»? Жмоты проклятые! Врэвакуанты! Яки поделится последней рубахой.

– Я вам дам «лендровер» с цепями, – сказал дед Арсений. – Иначе вы сверзитесь с серпантина в бухту.

– Ура! Поехали! – Молодежь поднялась и, приплясывая, прихлопывая и напевая модную в этом туристическом сезоне песенку «Город Запорожье», удалилась. Памела перед уходом нахлобучила себе на голову летнюю изысканную шляпу товарища министра информации.

Город Запорожье!
Санитэйшен фри!
Вижу ваши рожи,
Братцы, же ву при!

Русско-англо-французский хит замер в глубинах «Каховки». Взрослые остались одни.

– Эти девки могут разнести весь твой замок, Арсений, – сказал Лучников. – Откуда он их вывез?

– Говорит, что познакомился с ними третьего дня в Стамбуле.

– Третьего дня? Отлично! А когда он стал яки-националистом?

– Думаю, что сегодня утром. Они часа два беседовали на море с моим лодочником Хайрамом, а тот активист «Яки-Фьюча-Туганер-Центр».

– Хороший у тебя сын, Андрюшка, – мямлил вконец осоловевший Бутурлин. – Ищущий, живой, с такими девушками дружит. Вот мои мерзавцы-белоподкладочники только и шастают по салонам врэвакуантов, скрипка, фортепиано, играют всякую дребедень от Гайдна до Стравинского... понимаете ли, духовная элита... Мерзость! В доме вечные эти звуки – Рахманинов... Гендель... тоска... не пьют, не валяются...

– Ну, Фредди, хватит уже, – сказал Лучников-старший. – Теперь мы одни.

Фредди Бутурлин тут же причесался, одернул куртку и сказал:

– Я готов, господа.

– Хуа, отключи телефоны, – попросил Арсений Николаевич.

– А вы не завели еще себе магнитный изолятор? – поинтересовался Фредди. – Рекомендую. Стоит дорого, но зато перекрывает всех «клопов».

– Что все это значит? – спросил Лучников. Он злился. Двое уже знают некий секрет, который собираются преподнести третьему, несведущему. Хочешь не хочешь, но в эти минуты чувствуешь себя одураченным.

Арсений Николаевич вместо ответа повел их в так называемые «частные» глубины своего дома, то есть туда, где он, собственно говоря, и жил. Комнаты здесь были отделаны темной дубовой панелью, на стенах висели старинные портреты рода Лучниковых, часть из которых успела эвакуироваться еще в двадцатом, а другая часть разными правдами-неправдами была выцарапана уже из Совдепии. Повсюду были книжные шкафы и полки с книгами, атласами, альбомами, старые географические карты, старинные глобусы и телескопы, модели парусников, статуэтки и снимки любимых лошадей Арсения Николаевича. Над письменным столом висела фотография суперзвезды, лучниковского фаворита, пятилетнего жеребца крымской породы Варяга, который взял несколько призов на скачках в Европе и Америке.

– Недавно был у меня один визитер из Москвы, – сказал Арсений Николаевич. – Настоящий лошадиник. Еврей, но исключительно интеллигентный человек.

Андрей Арсеньевич усмехнулся. Ничем, наверно, не изжить врэвакуантского высокомерия к евреям. Даже либерал-папа проговаривается.

– Так вот, знаете ли, этот господин задумал в каком-то там их журнале рубрику «Из жизни замечательных лошадей». Дивная идея, не так ли?

– И что же? – поднял дворянскую бровь Бутурлин.

– Зарубили, наверное? – хмуро пробормотал Андрей.

– Вот именно это слово употребил визитер, – сказал Арсений. – Редактор рубрику зарубил.

Андрей рассмеялся:

– Евреи придумывают, русские рубят. Там сейчас такая ситуация.

Все трое опустили в кожаные кресла вокруг низкого круглого стола. Хуа принес портвейны и сигары и растворился в стене.

– Ну так что же случилось? – Лучников все больше злился и нервничал.

– Андрей, на тебя готовится покушение, – сказал отец.

Лучников облегченно расхохотался.

– Ну вот я так и знал – начнет ржать. – Арсений Николаевич повернулся к Бутурлину.

– Арсений, тебе, наверное, позвонил какой-нибудь маразматик-волчесотенец? – смеялся Лучников. – В «Курьере» дня не проходит без таких звонков. Чекистский выкормыш, блядь кремлевская, жидовский подголосок... как только они меня не кроют... придушим, утопим, за яйца повесим...

– На этот раз много серьезнее, Эндрю. – Вместе с этими словами и голос Бутурлина стал намного серьезнее.

– Сведения идут прямо из СВРП, – холодно и как бы отчужденно Арсений Николаевич стал излагать эти сведения. – Правое законспирированное крыло Союза Возрождения Родины и Престола приняло решение убрать тебя и таким образом ликвидировать нынешний «Курьер». Мне об этом сообщил мой старый друг, один из еще живущих наших батальонцев, но... – у Лучникова-старшего чуть дрогнул угол рта, – но, смею заверить, еще не маразматик. Ты знаешь прекрасно, Андрей, что твой «Курьер» и ты сам чрезвычайно раздражаете правые круги Острова...

– Сейчас уже и левые, кажется, – вставил Фредди Бутурлин.

– Так вот, мой старый друг тоже всегда возмущался твоей позицией и Идеей Общей Судьбы, которую он называет просто советизацией, но сейчас он глубоко потрясен решением правых из СВРП. Он считает это методами красных и коричневых, угрозой нашей демократии и вот почему хочет помешать этому делу, лишь во вторую голову ставя наши с ним дружеские отношения. Теперь, пожалуйста, Федя, изложи свои соображения.

Арсений Николаевич, едва закончив говорить, тут же выскочил из кресла и зашагал по ковру, как бы слегка надламываясь в коленных суставах.

Лучников сидел молча с незажженной сигарой в зубах. Мрак мягкими складками висел справа у виска.

– Андрюша, ты знаешь, на какой пороховой бочке мы живем, в какую клоаку превратился наш Остров... – так начал говорить товарищ министра информации Фредди Бутурлин. – Тридцать девять одних только зарегистрированных политических партий. Масса экстремистских групп. Идиотская мода на марксизм распространяется, как инфлуэнца. Теперь любой богаты-яки выписывает для украшения своей виллы собрания сочинений прямо из Москвы. Вре-вакуанты читают братьев Медведовых. Муллы цитируют Энвера Ходжу. Даже в одном англий-ском доме недавно я присутствовал на декламации стихов Мао Цзедуна. Остров наводнен агентурой. Си-Ай-Эй и Ка-Гэ-Бэ действуют чуть ли не в открытую. Размягчающий транс раз-рядки.

Все эти бесконечные делегации дружбы, культурного, технического, научного сотрудни-чества. Безвизный въезд, беспошлинная торговля... – все это, конечно, невероятно обогащает наше население, но день за днем мы становимся международным вертепом почище Гонконга. С правительством никто не считается. Демократия, которую Арсений Николаевич с сотовари-щами вырвали у Барона в тысяча девятьсот тридцатом году, доведена сейчас до абсурда. Пожа-луй, единственный институт, сохранивший до сих пор свой смысл, – это наши вооруженные силы, но и они начинают развинчиваться. Недавно было экстренное заседание кабинета, когда ракетчики Северного укрепрайона потребовали создания профсоюза военных. Вообрази себе бастующую армию. Кому она нужна? По данным ОСВАГа, шестьдесят процентов офицерского состава выписывают твой «Курьер». Стало быть, они читают газету, которая на каждой своей странице отвергает сам смысл существования русской армии. Понимаешь ли, Андрей, в дру-гой, более нормальной обстановке твоя Идея Общей Судьбы была бы всего лишь одной из идей, право на высказывание которых – любых идей! – закреплено в конституции. Сейчас Идея и ее активный пропагандист «Курьер» становится реальной опасностью не только для амби-ций наших мастодонтов, как ты их называешь, но и для самого существования государства и нашей демократии. Подумай, ведь ты, проповедуя общую судьбу с великой родиной, воспиты-вая в гражданах комплекс вины перед Россией, комплекс вины за неучастие в ее страданиях и, как говорят они там, великих свершениях, подумай сам, Андрей, ведь ты проповедуешь капи-туляцию перед красными и превращение нашей славной банановой республики в Крымскую область. Ты только вообрази себе этот кошмар – обкомы, райкомы...

– Я не понимаю, Федя, – перебил его Лучников. – Ты что, подготавливаешь меня к поку-шению, что ли? Доказываешь его целесообразность? Что ж, в логике тебе не откажешь.

Тяжесть налила все его тело. Тело – свинцовые джунгли, душа – загнанная лиса. Мрак висел теперь, как овальное тело, возле уютной люстры. Сволочь Бутурлин разглагольствует тут, развивает государственные соображения, а в это время СВРП разрабатывает детали охоты. На меня. На живое существо. Сорокашестилетний холостяк, реклама сигарет «Мальборо», люби-тель быстрой езды, пьянчуга, сластолюбец, одинокий и несчастный, будет вскоре прошит оче-редью из машингана. До слез жалко мальчика Андрюшу. Папа и мама, зачем вы учили меня гаммам и кормили кашей «Нестле»? Конеч.

– Постыдись, Андрей! – вскричал Бутурлин. – Я рисую тебе общую картину, чтобы ты уяснил себе степень опасности.

Он уяснил себе степень опасности. Вполне отчетливо. Отцу и в самом деле не нужно было называть своего старого друга по имени, он сразу понял, что речь идет о майоре Бобо-рыко, а покушение затеяно его племянником, одноклассником Лучникова Юркой, обладате-лем странной двойной фамилии Игнатьев-Игнатьев.

Всю жизнь этот карикатурный тип сопровождает Андрея. Долгое время учились в одном классе гимназии, пока Андрей не отправился в Оксфорд. Вернувшись на Остров в конце 1955 года, он чуть ли не на первой же вечеринке встретил Юрку и поразился, как отвратительно изменился его гимназический приятель, фантазер, рисовальщик всяческих бригадиров и фрегатов, застенчивый прыщавый дрозд. Теперь это стал большой, чрезвычайно нескладный мерин, выглядящий много старше своих лет, с отвратительной улыбкой, открывающей все десны и желтые вразнобой зубы, с прямым клином вечно грязных волос, страшно крикливый монологист, политический экстремист, «ультраправый».

Андрею тогда на политику было наплевать, он воображал себя поэтом, кутил, восторгался кипарисами и возникающими тогда «климатическими ширмами» Ялты, таскался по дансингам за будущей матерью Антона Марусей Джерми и всюду, где только ни встречался с Юркой, слегка над ним посмеивался.

Игнатьев-Игнатьев тоже вращался в ту пору вокруг блистательной Маруси, но никогда ей не объяснился, никогда с ней не танцевал, даже вроде бы и не подходил ближе чем на три метра. Он носил какое-то странное полувоенное одеяние с волчьим хвостом на плече – «Молодая волчья сотня». Чаще всего он лишь мрачно таранился из угла на Марусю, иногда – после пары коктейлей – цинично улыбался огромным своим мокрым ртом, а после трех коктейлей начинал громогласно ораторствовать, как бы не обращая на итальяночку никакого внимания. Тема тогда у него была одна. Сейчас, в послесталинское время, в хрущевской неразберихе, пора высаживаться на континент, пора стальным клинком разрезать вонючий маргарин Совдепии, в неделю дойти до Москвы и восстановить монархию.

Однако, когда началась Венгерская революция 1956 года, «Молодая волчья сотня» осталась ораторствовать в уютных барах Крыма, в то время как юноши из либеральных семей, все это барахло, никчемные поэтишки и джазмены, как раз и организовали баррикадный отряд, вылетели в Вену и пробрались в Будапешт прямо под гусеницы карательных танков.

Андрей Лучников тогда еле унес ноги из горящего штаба венгерской молодежи, кино-театра «Корвин». Советская, читай русская, пуля сидела у него в плече. Потрясенный, обожженный, униженный дикой танковой беспощадностью своей исторической родины, он был доставлен домой какой-то шведской санитарной организацией. Из трех сотен добровольцев на Остров вернулось меньше пяти десятков. Разумеется, вернулись они героями. Портреты Андрея появились в газетах. Маруся Джерми не отходила от его ложа. К концу года раны борца за свободу затянулись, состоялась шумнейшая свадьба, которую некоторые эстеты считают теперь зарей новой молодежной субкультуры.

Среди многочисленных чудеснейших эпизодов этой свадьбы был и один безобразный: Игнатьев-Игнатьев, перегнувшись через стол, стал орать в лицо Лучникову: «А все-таки здорово наши выпустили кишки из жидамадьяр!» Хотели было его бить, но жених, сияющий и блистательный идол молодежи Андрэ, решил объясниться. Извини, Юра, но мне кажется, что-то есть лишнее между нами. Оказалось не лишнее: ненависть! Игнатьев-Игнатьев в кафельной тишине сортира ночного клуба «Blue Inn», икая и дрожа, разразился своим комплексом неполноценности. «Ненавижу тебя, всегда ненавидел, белая кость, голубая кровь, облюбую сейчас всю вашу свадьбу».

До Лучникова тогда дошло, что перед ним злейший его враг, опаснейший еще и потому, что, кажется, влюблен в него, потому что соперником его считать нельзя. Потом еще были какие-то истерики, валянье в ногах, гомосексуальные признания, эротические всхлипы в адрес Маруси, коварные улыбки издали, доходящие через третьи руки угрозы, но всякий раз на протяжении лет Лучников забывал Игнатьева-Игнатьева, как будто тот и не существует. И вот наконец – покушение на жизнь! В чем тут отгадка – в политической ситуации или в железах внутренней секреции?

– Ну хорошо, я уяснил себе опасность ситуации, – сказал Лучников. – Что из этого?

– Нужно принять меры, – сказал Бутурлин.

Отец молчал. Стоял в углу, глядел на замирающее в сумерках море и молчал.

– Сообщи в ОСВАГ, – сказал Лучников.

Бутурлин коротко хохотнул:

– Это несерьезно, ты знаешь.

– Какие меры я могу принять, – пожал плечами Лучников. – Вооружиться? Я и так, словно Бонд, не расстаюсь с «береттой».

– Ты должен изменить направление «Курьера».

Лучников посмотрел на отца. Тот молча перешел к другому окну, даже и не обернулся. Закатные небеса над холмами изображали битву парусного флота. Лучников встал и, прихватив с собой бутылку и пару сигар, направился к выходу из кабинета. Бутурлин преградил ему путь.

– Андрэ, я же не говорю тебе о коренном изменении, о повороте на сто восемьдесят градусов... Несколько негативных материалов о Союзе... Нарушение прав человека... насилие над художниками... ведь это же все есть на самом деле... тебе же не придется врать... ведь ты же печатаешь такие вещи... но ты это освещаешь как-то изнутри, как-то так... будто бы один из них, некий либеральный советчик... Ведь ты же сам, сознайся, Андрей, всякий раз возвращаешься оттуда, трясясь от отвращения...

Пойми, несколько таких материалов, и твои друзья смогут тебя защитить. Твои друзья смогут тогда говорить: «Курьер» – это независимая газета Временной Зоны Эвакуации, руки прочь от Лучникова. Сейчас, ты меня извини, Андрей, – голос Бутурлина вдруг налился историческим чугуном, – сейчас твои друзья не могут этого сказать.

Лучников легонько отодвинул Фредди и прошел к дверям. Выходя, успел заметить, как Бутурлин разводит руками, – дескать, ну вот, с меня, мол, и взятки гладки. Отец не переменял позы и не окликнул Андрея.

Он ушел из «частных комнат» в свою башенку, открыл дверь комнаты, которая всегда ждала его, и некоторое время стоял там молча в темноте с бутылкой в руке и с двумя сигарами, зажатыми между пальцев. Потом медленно распустил шторы. Полыханье парусной битвы за плоскими скалами Библейской долины. Лучников лег на тахту и стал бездумно следить медленные перемещения деформированных и частично горящих фрегатов. Потом он увидел на полке над собой маленький магнитофон, до которого можно было дотянуться, не меняя позы, и это соблазнило его нажать кнопку.

Сразу в черноморской тишине взорвался заряд потусторонних звуков, говор странной толпы, крики чуждых птиц, налетающий посвист морозного ветра, отдаленный рев грубых моторов, какой-то лязг, стук пневмомолотка, какая-то дурацкая музыка – все это было чуждым, постылым и далеким, и это была земля его предков, коммунистическая Россия, и не было в мире для Андрея Лучникова ничего роднее.

Всю эту мешанину звуков электропилой прорезал кликушеский бабий голос: «Молитесь, родные мои, молитесь, сладкие мои! Нет у вас храма, в угол встаньте и молитесь!

Святого образа нет у вас, на небо молитесь! Нету лучшей иконы, чем небо!»

Прошлой зимой в Лондоне Лучников ни с того ни с сего купил место в дешевом круизе «Магнолия» и прилетел в Союз. Никому из московских друзей звонить не стал, путешествовал с группой западных мещан по старым городам – Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Ярославль, и не пожалел: «Интурист» англичанами занимался из рук вон плохо, часами мариновал на вокзалах, засовывал в общие вагоны, кормили частенько в обычных столовках – вряд ли когда-нибудь Лучников столь близко приближался к советской реальности.

Эту запись он сделал случайно. Гулял вокруг Успенского собора во Владимире и там слышал кликушу. В парке возле собора красовались аляповатые павильоны, раскрашенные жуткими красками, – место увеселения детворы, кажется, шли школьные каникулы. Изображе-

ния ракет и космонавтов. Дом напротив украшен умопомрачительно – непонятным лозунгом: «Пятилетке качества рабочую гарантию». Тащатся переполненные троллейбусы, бесконечная вереница грузовиков, в основном почему-то пустых. Большая чугунная рука, протянутая во вдохновенном порыве. И вдруг – кликуша, и, отвернувшись от животворной современности, видишь неизменных русских старух у обшарпанной стены храма, сонмы ворон, кружащих над куполами, распухшую бабу-кликушу и дурачка Сережу, Божьего человека, который курит «Беломор» и трясется рядом с бабой, потому что она – его родная мать вот уж сорок годков.

– Гляньте на Сережу, сладкие мои! Я ему на кровати стелю, а сама на полу сплю, потому что он – человек Божий. А ест Сережа с кошками и собаками, потому что все мы твари Божие, и он дает нам понятие – природу не обижайте, сладкие мои!

Лучников с магнитофоном в кармане стоял среди старух. Те вынимали черствые булки и совали их в торбу юродивым. Распухшая баба быстро крестила всех благодетельниц и кричала все пронзительнее:

– Евреев не ругайте! Евреи – народ Божий! Это вам враги говорят евреев ругать, а вы по невежеству их слушаете.

Господа нашего не еврей продал, а человек продал, а и все апостолы евреями были!

Подошел милиционер – чего тут про евреев? – подошли молоденькие девчонки в пуховых шапочках – вот дает бабка! – но ни тот ни другие мешать не стали, замолчали, смущенно топтались, слушая кликушу.

– Родные мои! Сладкие мои! Евреев не ругайте!

...Парусная битва меркла, фрегаты тлели, угольками угасали в нарастающей темноте, но все-таки тень, прошедшая по стене, была еще видна. Она прошла, исчезла и вернулась. Остановилась в чуткой позе, тень тоненькой девушки, потом толкнула дверь и материализовалась внутри комнаты Кристиной.

– Хай, Мальборо? Вы здесь?

Хулиганская рука ее блуждала недолго и вскоре безошибочно опустилась в нужное место, взялась за язычок «молнии». В темноте он видел над собой светящиеся глаза Кристины и ее смеющийся рот, две полоски поблескивающих зубов. Потом упали вниз ее волосы и скрыли начинающийся девичий пир. Прикосновение слизистой оболочки, и сразу он ощутил мгновенный и мощный подъем.

– ...Спасибо, родные мои! Господь вас храни! А кто бабу Евдокию видеть хочет, так автобусом до станции Колядино пусть ехает, а там до Первой Пятилетки километр пеши, а изба наша с Сергуньчиком – крайняя! Господь благослови! Дай Бог вам, сладкие мои, здоровья и мира! Утоли, Богоматерь, наши печали!

Чавканье размокшего снега под ногами, усиление музыки – «до самой далекой планеты не так уж, друзья, далеко...». Ослабление музыки, утробный хохот Сережи, радость олигофрена – сигарету получил, животные звуки, собственный голос:

– Можно, я с вами поеду?

– Ты кто таков будешь? Не наш? – Голос бабы Евдокии сразу перекрыл все звуки. Вот так они в старину созывали огромные толпы, без всяких микрофонов; особые голосовые данные русских кликуш.

– Нет, я русский, но из Крыма.

– Господь тебя благослови! Чего тебе с нами?

Невразумительное чавканье, оханье, крихтенье – посадка в автобус. Визгливый голос, не хуже кликушеского, правда через микрофон:

– Граждане, оплачивайте за проезд!

Да как же они все там говорят, разве по-русски?

...Кристина хотела доминировать, но Лучников не любил амазонок, и после короткой борьбы вековая несправедливость восторжествовала – девушка была придавлена горой мышц.

Предательская мысль, нередкая спутница лучниковских безобразий – «а вдруг упаду?» – появилась и сейчас, но девушка вовремя сдалась и тоненько и жалобно застонала, отдавая себя во власть свинскому племени мужчин, и он, ободренный капитуляцией, мощно вступил в сладкие и влажные пределы.

– ...Передайте за проезд. Куда вы дадите? Да что это за люди? Ох, народ пошел – зверь! Ухм-ухм-ухм – Сережа... Булочку хотите пососать, приезжий? Следующая остановка – автовокзал! Ай-ай-ай, да куда же он катится? Гололед...

– Я вас хочу спросить, мать Евдокия.

– погоди, голубь мой, сначала я тебя спрошу: как у вас с продуктами в Крыму?

Шипенье пневмосистемы – открылись двери. Ворвался гул автостанции, крики – началась борьба на посадке.

– Вы где, простите, апельсины брали?

...Лучников забыл свои года и самозабвенно играл со слабенькой, но гибкой, постанывающей и вскрикивающей Кристиной, то мучил ее как наглый юноша-солдат, гонял, вбивал в тахту и в стенку, то вдруг наполнялся отеческими чувствами и нежно поглаживал мокрую кожу, то вдруг она как бы увеличивалась в размерах и представляла как бы мать, а он – дитя, и он тогда обсасывал мочки ее ушей, ключицы и в этих паузах набирал силы, чтобы снова стать наглым солдатом-захватчиком.

...Тонкий мужской голосок повествовал соседу:

– Я с сестрой ехал из Рязани, а тут в вагон ребята пьяные зашли. Сестре говорят – айда, девка, с нами, и, значит, руками берут мою сестру. Отдыхайте, говорю, мальчики, не мешайте людям отдыхать. Они мне в глаз зафилигранили и ушли. Ну, сижу и думаю, что за несправедливость.

Пришел в вагон мой друг Козлов, мы с ним вина выпили и пошли тех ребят искать. В соседнем вагоне нашли. Ну вот, сейчас поговорим по-хорошему! Тогда один из тех ребят локтем окно высаживает, вынимает длинную штуку стекла – такая у него находчивость – и начинает нас с Козловым этой штукой сажать, а другие нам выйти не дают. Вот вам и плачевные результаты: выписался из травматологии только вчера, а Дима еще лежит.

Голосишко все время уплывал, заглушался вдруг оглушительным газетным шорохом или кашлем, явственно доносился «Танец маленьких лебедей» из транзистора. Собственный голос:

– Вы лечите людей, мать Евдокия?

Жуткий вопль всего автобуса, визг тормозов, усиливающийся вопль, грохот, сдавленные крики, стоны, скрежет. Еб-вашу-мать-мать-вашу-еб-в-сраку-вашу-мать-в-рот-в-рот-меня-ебать-блядь-позорная-пиздорванец-пока-лечил-нас-всех-помогите-люди-добрые!

Катастрофа, минутное молчание.

...Итак, приближается момент истины. Сдержанно рыча, Лучников приспособливал девушку для последнего броска на колючую проволоку райских куш.

В следующий момент они сравнялись, потеряли и зависимость, и доминанту, и все свои разницы и барьеры, сцепились, извергая из себя восторги, и полетели, приближаясь, приближаясь, приближаясь – и впрямь как будто увидели осколок чего-то чудесного – и удаляясь, удаляясь, удаляясь, пока не отпали друг от друга.

Его всегда удивляло, как быстро, почти мгновенно после любовных актов он начинал думать о постороннем, о делах, о деньгах, о машинах... Сейчас, отпав от Кристины и тихо поглаживая ее дрожащее плечо, он мигом перенесся в грязно-снежные поля, откуда вытекали магнитофонные звуки и где в разбухшем кювете лежал на боку рейсовый автобус Владимир – Суздаль.

Сильно пострадавших не было. Кажется, кто-то руку сломал, кто-то ногу вывихнул, остальные отделались ушибами. Детишки выли, бабы стонали, мужчины матерились. Подтяги-

ваясь, подсаживая друг друга, пассажиры выбирались из автобуса через левые двери, которые оказались теперь над головами. Лучников старался не смотреть на ужасное бабское белье под юбками. От Евдокии несло хлебом и мочой. Вдвоем с солдатом артиллерийских войск Лучников подсаживал бабу на выход, когда она вдруг запричитала:

– Сережа-то где? Сергунчика-то, родные мои, забыли? Где дитятко-то мое. Господи спаси! Сережечка, отзовись, мое золотце!

Дурак был завален в заднем углу кошелками и чемоданами. Тряслась его плешивая голова. Подвывая, он жрал апельсины, кусая их прямо через ячейки авоськи. Услышав зов, он вскочил с человеческим криком:

– Маманя!

Апельсиновый сок, ошметки кожуры на небритых Сережиных щеках.

Когда все выбрались, прыгнули в кювет и солдат с Лучниковым, сразу по пояс в грязную обжигающую холодную жижу.

– Великолепно, – все время говорил солдат. – Остановка великолепная.

На обочине уже стояло несколько грузовиков. По ледяной корке асфальта медленно юзом приближался автокран, ткнулся в кусты обочины и остановился. Остановился и встречный автобус. Толпа у места катастрофы росла.

– Я им, сукам, говорил, что нельзя в такой гололед выходить на линию! – кричал водитель упавшего автобуса. – Не выйдешь, говорят, партбилет положишь!

С мутных предвечерних небес пошел снег с дождем. Евдокия сидела на обочине, баюкала своего огромного дитя. Сережа всхлипывал, уткнувшись ей в распухший живот. Взыла сирена «скорой помощи». Появились две желто-синих милицеевских машины.

– Мать Евдокия! – позвал Лучников.

Баба дико на него посмотрела, потом, видимо, узнала.

– Иди своей дорогой, приезжай, – незнакомым хриплым голосом сказала она. – Никого я не врачую и никаких ответов не знаю. Приезжай в Колядино летом, когда птахи поют, когда травка зеленая. Иди таперича!

– Благослови, мать Евдокия, – попросил Лучников.

Баба подняла было руку, но потом снова ее упрятала.

– Иди к своим немцам, в Крымю, у вас там церковей навалом, там и благословись.

Она отвернулась от Лучникова и выпатила нижнюю губу, как будто давая понять, что он для нее больше не существует.

– Очень великолепно! – гаркнул рядом солдат. Он уже тащил откуда-то стальной трос. – Сейчас бы бутылку – и полностью великолепно!

Лучников пошел по обочине обледеневшего шоссе в сторону города. Он поднял воротник своего кашемирового сен-жерменовского пальто, обхватил себя руками, но мокрый злой ветер России пронизывал его до костей, и кости тряслись, и, тупо глядя на тянущиеся в полях длинные однообразные строения механизированных коровников, он чувствовал свою полную непричастность ко всему, что его сейчас окружало, ко всему, что здесь произошло, происходит или произойдет в будущем. Последнее, что записал его магнитофон, был крик капитана милиции:

– Проезжай, не задерживайся!

...Пока он все это слушал и вспоминал, Кристина выбралась из-под его бока. Она взяла с подоконника какой-то маленький комочек, встряхнула его, и это оказалось ее платье. Вскоре она, причесанная и в платье, сидела у стола, курила и наливала себе в стакан херес.

– Что это за дикие звуки? – спросила она, подбородком показывая на магнитофон.

– Это вас не касается, – сказал Лучников.

Она кивнула, погасила сигарету и потянулась.

– Ну, я, пожалуй, пойду. Благодарю вас, сэр.

– Я тоже вам благодарен. Это было мило с вашей стороны.

Уже в дверях она обернулась:

– Один вопрос. Вы, наверное, думали, что к вам Памела придет?

– Честно говоря, я ничего не думал на этот счет.

– Пока, – сказала Кристина. – Памела там внизу с Тони. Пока, мистер Мальборо.

– Всего доброго, Кристина, – очень вежливо попрощался Лучников. Оставшись в одиночестве, налил себе стакан и закурил сигарету.

«Да, совсем не трудно переменить курс „Курьера“, – подумал он. – Нет ничего легче, чем презирать эту страну, нашу страну, мою, во всяком случае. Кстати, в завтрашнем номере как раз и идет репортаж о советских дорогах. Да-да, как это я забыл, это же внутренний диссидентский материал, ему цены нет. „Путешествие через страну кафе“. Анонимный материал из Москвы, талантливое издевательство над кошмарными советскими придорожными кафе. Быть может, этого достаточно, чтобы на несколько дней сберечь свою шкуру?»

Он повернулся на тахте и снял телефонную трубку – в принципе можно не отлучаться с этого лежбища, если и девки сами сюда приходят, и в Россию можно вернуться нажатием кнопки, и с газетой соединиться набором восьми цифр.

Ответил Брук. Бодрый нагловатый пьяноватый голос:

– Courier! Associate editor Brook is here.

– Сколько раз вам говорить, Саша, вы все-таки работаете в русской газете, – проворчал Лучников.

– Вот вляпался! – так же весело и еще более пьяновато воскликнул Брук. – Это вы, чиф? Не злитесь. Вы же знаете наши кошмарные парадоксы: многим читателям трудноато изъясняться по-русски, а на яки я не секу, не врубаюсь. Вот по-английски и сходимся.

– Что там нового из Африки, Саша?

– Могу вас обрадовать. Рамка прислал из Киншасы абсолютно точные сведения. Бои на границе ведут племена ибу и ебу. Оружие советское, мировоззрение с обеих сторон марксистское. Мы уже заслали это в набор. На первую полосу.

– Снимите это с первой полосы и поставьте на восьмую. Так будет посмешнее.

– Вы уверены, чиф, что это смешное сообщение?

– Мне представляется так. И вот еще что, Саша. Выньте из выпуска тот московский материал.

Пауза.

– Вы имеете в виду «Путешествие через страну кафе», Андрей?

– Да.

– Но...

– Что?

Пауза.

– Какого черта! – заорал Лучников. – В чем дело? Что вы там мнетесь, Саша?

– Простите, Андрей, но... – Голос Брука стал теперь вполне трезвым. – Но вы же знаете...

От нас давно уже ждут такого материала...

– Кто ждет? – завопил Лучников. Ярость, словно морская звезда, вцепилась в темную стену.

– Чем заменим? – холодно спросил Брук.

– Поставьте это интервью Самсонова с Сартром! Все! Через час я позвоню и проверю!

Он швырнул трубку, схватил бутылку, глотнул из горлышка, отшвырнул бутылку, крутанулся на тахте. От скомканного пледа пахло женской секрецией. Ишь, чем решили шантажировать – жизнью!

Снова схватил трубку и набрал тот же номер. Легкомысленное насвистывание. Брук уже насвистывает этот идиотский хит «Город Запорожье».

– Courier! Associate edi...

– Брук, извините меня, я сорвался. Я вам позже объясню...

– Ничего, ничего, – сказал Брук. – Все будет сделано, как вы сказали.

Лучников вдруг стал собираться. Куда собираюсь – неясно. С такой мордой нельзя собираться. В таких штанах нельзя никуда собираться: от них разит проституцией. Как женской проституцией, так и мужской. Однако политической проституцией от них не пахнет. Для ночного Коктебеля сойдут и такие штаны. Ширинка будет наглухо застегнута. Это новинка для ночного Коктебеля – наглухо зашторенные штаны. Возьму с собой пачку денег. Где мои деньги? Вот советские шагреновые бумажки, вот доллары – к черту! Ассигнации Банка Вооруженных сил Юга России – это валюта! Яки, кажется, уже забыли слово «рубль». У них денежная единица – «тича». Тысяча – тыща – тича. Смешно, но в «Известиях» в бюллетенях курса валют тоже пишут «тича». Крымские тичи: за 1,0–0,75 рубля. Деньги охотно принимаются во всех «Березках», но делается вид, что это не русские деньги, не рубли, что на них нет русских надписей «одна... две... сто тысяч рублей... Банк Вооруженных Сил Юга России». Вот это странная, но тем не менее вполне принимаемая всем народом черта в современной России, в Союзе – не замечать очевидное. Пишут в своих так называемых избирательных бюллетенях: «Оставьте одного кандидата, остальных зачеркните», а остальных-то нет, нет и не было никогда! Фантастически дурацкий обман, но никто этого не замечает, не хочет замечать. Все хотят быть быдлом, комфортное чувство стада. Программа «Время» в советском ТВ – ежевечерняя лобэктомия. Однако и наши мастодонты мудачьи хороши – почему государственный банк с тупым упорством называется Банком Вооруженных Сил, да еще и Юга России??? Почему баронское рыло до сих пор на наших деньгах? Черт побери, если вы считаете себя хранителями русской культуры, изображайте на ассигнациях Пушкина, Льва Николаевича, Федора Михайловича... Экий герой – бездарный барон Врангель, спаситель «последнего берега Отечества». Быть может, это он создал Чонгарский пролив? А лейтенанта Бейли-Лэнда вообще не было? Лжецы и тупицы властвуют на русских берегах. Почему в Москве ко мне прикрепляют переводчика? Товарищи, посудите сами – зачем мне переводчик, нелепо мне ходить по Москве с переводчиком. Стучать на меня бессмысленно, секретов-то нету, это вы знаете. Спасибо и на этом. Но для чего же тогда? У нас так полагается – к важным гостям из-за границы прикрепляется переводчик. То есть вроде бы в Крыму не говорят по-русски? Вот именно. Ты же знаешь, Андрей, что, когда Сталин начал налаживать кое-какие связи с Крымом, он как бы установил, что там никто не говорит по-русски, что русским духом там и не пахнет, что это вроде бы совершенно иностранное государство, но в то же время как бы и не государство, как бы просто географическая зона, населенная неким народом, а народы нами любимы все как потенциальные потребители марксизма. Однако, возражаю я, ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев никогда не отказывались от претензий на Крым как на часть России, не так ли? Верно, говорят умные друзья-аппаратчики. В территориальном смысле мы не отказываемся и никогда не откажемся и дипломатически Крым никогда не признаем, но в смысле культурных связей мы считаем, что там у вас полностью иноязычное государство. Тут есть какой-то смысл? Неужели не понимаешь, Андрюша? Тут глубочайший смысл – таким образом дается народу понять, что русский язык вне социализма немыслим. Да ведь вздор полнейший, ведь все знают, что в Крыму государственный язык русский. Все знают, но как бы не замечают, вот в этом вся и штука. В этом, значит, вся штука? Да-да, именно в этом. Ну, вот ведь и сам ты говоришь, что и у вас там много козлов, ну вот и у нас, Андрей, козлов-то немало. Конечно, вздор, конечно, анахронизм, но в некотором смысле полезный, цементирующий, как и многие другие сталинские анахронизмы. Да ведь, впрочем, Андрей Арсеньевич, тебя действительно иногда надо переводить на современный русский, то есть советский. Меня? Никогда не надо! Я, смею утверждать, говорю на абсолютно современном русском языке, я даже обе фени знаю – и старую и новую. Ах так? Тогда попробуй приветствовать телезрителей. Пожалуйста – «Добрый вечер, товарищи!». Ну

вот, вот она и ошибка – надо ведь говорить: «Добрый вечер, дорогие товарищи», об интонации уж умолчим. Интонация у тебя, Андрей, совсем не наша. Знаем, знаем, что ты патриот, и твою Идею Общей Судьбы уважаем, грехи твои перед Родиной забыты, ты – наш, Андрей, мы тебе доверяем, но вот фразу «Нет слов, чтобы выразить чувство глубокого удовлетворения» – тебе не одолеть. Так обычно мирно глумился над Лучниковым новый его друг – не разлей вода, умнейший и хитрейший Марлен Кузенков, шишка из международного отдела ЦК. Значит, нечто общее есть и в Москве, и в Симферополе? Общее нежелание замечать существующие, но неприятные факты, цепляние за устаревшие формы: все эти одряхлевшие «всероссийские учреждения» в Крыму, куда и мухи уже не залетают, и элитарное неприсоединение к гражданам страны, которой мы сами же и управляем, – это словечко «врэвакуант» и московское непризнание русских на Острове, и все их бюллетени, и почему-то Первая конная армия, когда ни слова о Второй, и почему-то в юбилейных телефильмах об истории страны ни Троцкого, ни Бухарина, ни Хрущева – куда же канул-то совсем недавненький Никита Сергеевич, кто же Гагарина-то встречал? – да все эти московские фокусы с неупоминаниями и не перечислишь, но... но раз и у нас тут существует такая тенденция, значит, может быть, и не в тоталитаризме тут отгадка, а, может быть, просто в некоторых чертах национального характера-с? Характерец-то, характериска-то у нас особенный. Не так ли? У кого, например, еще существует милейшая поговорочка «Сор из избы не выносить»? Кельты, норманны, саксы, галлы – вся эта свора избы небось свои очищала, вытряхивала сор наружу, а вот гордый внук славян заметал внутрь, имея главную цель – чтоб соседи не видели. Ну а если все эти гадости из национального характера идут, значит все оправданно, все правильно, ведь мы же и говном себя называем, а вот англичанин говном себя не назовет.

Придя в конце концов после довольно продолжительных размышлений к этому несколько вонючему выводу, Андрей Арсеньевич Лучников обнаружил себя несущимся в своей рывкающей машине по серпантину, который переходил сразу в главную улицу Коктебеля, заставленную многоэтажными отелями. Обнаружив себя здесь, он как бы вспомнил свои предшествующие движения: вот вышел, размахивая пачкой «тичей», из Гостевой башни, вот энергично двигался по галерее, вот чуть притормозил, увидев на парапете неподвижный контур Кристины, вот прошел мимо, вот засвистал что-то демонстративно старомодное, «Сентиментальное путешествие», вот чуть притормозил, увидев в освещенном окне библиотеки молчаливо стоящую фигуру отца, вот прошел мимо во двор и перепрыгнул, словно молодой, через бортик «Питера», услышал призывный возглас Фредди: дескать, возьми с собой, и тут же включил зажигание.

Сейчас, обнаружив себя среди ночи подъезжающим к злачным местам своей юности и вспомнив все свое сегодняшнее поведение, Андрей Арсеньевич так изумился, что резко затормозил. Что происходит сегодня с ним? Он обернулся. Зеленое небо в проеме улицы, серп луны над контуром Сюрю-Кая. В боковой улочке, уходящей к морю, медленно вращается светящийся овал найт-клаба «Калипсо». Пронзительный приступ молодости. Ветер, прилетевший из Библейской долины, согнул на миг верхушки кипарисов, вспенил и посеребрил листву платана, взбудоражил и закрутил Лучникова. Что обострило сегодня все мои чувства – появившаяся опасность, угроза? Совершенно забытое появилось вновь – простор и обещания коктейльской ночи.

У входа в «Калипсо» стояло десятка полтора машин. Несколько стройных парней-яки пританцовывали на асфальте в меняющемся свете овала. Вход – 15 тичей. За двадцать лет, что Лучников здесь не был, заведение стало фешенебельным. Когда-то здесь в гардеробной висела большая картина, которую лучниковская компания называла «художественной». На ней была изображена нимфа Калипсо с большущими грудями и татарскими косами, которая с тоской провожала уплывающего в пенных волнах татарина Одиссея. Теперь в той же комнате по стенам вился изысканнейший трех-, а может быть, и четырехсмысленный рельеф, изображающий

приключения малого как сперматозоид Одиссея в лоне гигантской, разваленной на десятки соблазнительных кусков Калипсо. Все это было подсвечено, все как бы дышало и трепетало, двигались кинетические части рельефа. Лучников подумал, что не обошлось в этом деле без новых эмигрантов. Уж не Нусберг ли намудрил?

Едва он вошел в зал и направился к стойке, как тут же услышал за спиной чрезвычайно громкие голоса:

– Смотрите, господа, редактор «Курьера»!

– Андрей Лучников собственной персоной!

– Что бы это значило – Лучников в «Калипсо»? – Говорили по-русски и явно для того, чтобы он обернулся.

Он не обернулся. Присев к стойке, он заказал «Манхэттен» и попросил бармена сразу после идиотской песенки «Город Запорожье» – должно быть, не меньше десяти раз уже крутили за сегодняшний вечер? Не менее ста, сэр, у меня уже мозжечок расплавился, сэр, от этого «Запорожья»! – так вот сразу после этого включите, пожалуйста, музыку моей юности «Serenade in Blue» Глена Миллера. С восторгом, сэр, ведь это и моя юность тоже. Не сомневался в этом. Мне кажется, сэр, я вас уже встречал. Еще сомневаетесь? Не исключено, что вы из Евпатории, сэр. Кажется, там у вас отель. Смешно, Фадеич... Как вы меня?... Смешно, говорю, Фадеич, прошло двадцать лет, я стал знаменитым человеком, а ты так и остался занюханым буфетчиком, но вот я тебя прекрасно узнаю, а ты меня, хер моржовый, не узнаешь. Андрюша! Хуюша! Не надо сквернословить! Ну а обняться-то можно, а? Слегка всплакнуть? Слышишь серебряные трубы – Глен Миллер бэнд!.. Голубая серенада, 1950 год, первые походы в «Калипсо»... первые поцелуи... первые девушки... драки с американскими летчиками...

Хлопая по спине и по скуле Фадеича, слушая свинговые обвалы Миллера, Лучников вдруг осознал, что привело его в эту странную ночь именно сюда – в «Калипсо». В юности здесь всегда была пленительная атмосфера опасности. Неподалеку за мысом Хамелеон находилась американская авиабаза, и летчики никогда не упускали возможности подраться с русскими ребятами. Быть может, и сегодня, неожиданно помолодев от ощущения опасности, от словца «покушение», Лучников почувствовал желание бросить вызов судьбе, а где же бросить вызов судьбе, как не в «Калипсо».

Признаться в этом даже самому себе было стыдно. Все здесь переменилось за два десятилетия. Клуб стал респектабельным, дорогим местом вполне благопристойных развлечений верхушки среднего класса, секс перестал быть головокружительным приключением, а летчики, постарев, демонтировали базу и давно уже отбыли в свои Миллуоки.

Остался старый Фадеич и даже вспомнил меня, это приятно. Сейчас допью «Манхэттен» и уеду домой в Симфи и завтра в газету, а через три дня в самолет – Дакар, Нью-Йорк, Париж, конференция против апартеида, сессия Генеральной Ассамблеи, встреча редакторов ведущих газет мира по проблеме «Спорт и политика» и, наконец, Москва.

Вдруг он увидел в зеркале за баром своего сына, о котором он, планируя следующую неделю, гнуснейшим образом забыл. Что же удивляться – мы потеряли друг друга, потому что не ищем друг друга. Распланировал всю неделю – Дакар, Нью-Йорк, Париж, Москва – и даже не вспомнил о сыне, которого не видел больше года.

С кем он сидит? Странная компания. В глубине зала – в нише – бледное длинное лицо Антошки, золотая головка Памелы на его плече, а вокруг за столом четверо плотных мужланов в дорогих костюмах, браслеты, золотые «Ролексы». Ага, должно быть, иностранные рабочие с Арабатской стрелки.

– Там мой сын сидит, – сказал он Фадеичу.

– Это твой сын? Такой длинный.

– А кто там с ним, Фадеич?

– Не знаю. Первый раз вижу. Это не наша публика.

Нынешний Фадеич за стойкой как завкафедрой, седовласый мэтр, а под началом у него три шустрых итальянца. Лучников махнул рукой и крикнул сыну:

– Антоша! Памела! Идите сюда! Приготовь шампанского, Фадеич, – попросил старого друга.

Щелчок пальцами – серебряное ведро с бутылкой «Вдовы» мигом перед нами. Однако где же наш сын? В конце концов, необходимо познакомить его с Фадеичем, передать эстафетную палочку поколений. Не хочет подойти – пренебрегает? Generation gap? В зеркале Лучников, однако, видел, что Антон хочет подойти, но каким-то странным образом не может. Он сидел со своей Памелой в глубине ниши, а четверо богатых дядек вроде бы зажимали его там, как будто не давали выйти. Какие-то невежливые.

– Какие-то там невежливые, – сказал Лучников Фадеичу и заметил, что тот весьма знакомым образом весь подобрался – как в старые времена! – и сощуренными глазами смотрит на невежливых.

– That's true, Андрей, – проговорил медленно и так знакомо улыбаясь Фадеич. – Они невежливые.

Подхваченный восторгом, Лучников спрыгнул с табуретки.

– Пойду поучу их вежливости, – легко сказал он и зашагал к нише.

Пока шел под звуки «Голубой серенады», заметил, что симферопольские интеллектуалы смотрят на него во все глаза.

Подойдя, Лучников взял руку одного из дядек и сжал. Рука оказалась на удивление слабой. Должно быть, от неожиданности: у такого мордоворота не может быть столь слабая рука. Лучников валял эту руку, чуть ли не сгибал ее.

– В чем дело, Антоша? – спросил он сына. – Что это за люди?

– Черт их знает, – пробормотал растерянно Антон. Как растерялся, так небось по-русски заговорил. – Подошли к нам, сели и говорят – вы отсюда не выйдете. Что им надо от нас – не знаю.

– Сейчас узнаем, сейчас узнаем. – Лучников крутил слабую толстую руку, а другой свободной рукой взялся расстегивать пиджак на животе незнакомца. В старые времена такой прием повергал противника в панику.

Между тем к нише подходили любопытные, и среди них симфи-пипл, те, что его знали. С порога за этой сценой наблюдал дежурный городской. Кажется, Фадеич с ним перемигивался.

Четверо были все мужики за сорок и говорили на яки с уклоном в татарщину, как обычно изъяснялись на острове турки, работающие в «Арабат ойл компани».

– Гив май хэнд, ага, – попросил Лучникова пленник. – Кадерлер вери мач, пжалста, Лучников-ага.

Лучников отпустил руку и дал им всем выйти из ниши, одному, другому, третьему, а на четвертого показал сыну:

– Поинтересуйся, Антон, откуда джентльменам известно наше имя.

Мальчик быстро пошел за четвертым и в середине зала мгновенным и мощным приемом карате зажал его. Лучников пришел в восторг. Этот прием был как бы жестом дружбы со стороны Антона: несколько лет назад они вместе брали уроки карате.

– Откуда ты знаешь моего отца? – спросил Антон.

– Ти Ви... яки бой... Ти Ви... юк мэскель... кадерлер... ма-ярта... сори мач... – кряхтел четвертый.

– Он тебя на телевизии видел, – как бы перевел Антон. – Извиняется.

– Отпусти его, – сказал Лучников.

Он хлопнул сына по плечу, тот ткнул его локтем в живот, а Памела, хохоча, шлепнула обоих мужчин по задкам. Четверо мигом улетучились из «Калипсо». Городовой, засунув руки за

пояс с мощным кольцом, вышел вслед за ними. Симфи-пипл аплодировал. Сцена получилась как в вестерне. Молодым огнем сияли глаза Фадеича.

Они выпили шампанского. Памела с интересом посматривала на Лучникова, должно быть прикидывая, была ли у него Кристина и что из этого вышло. «Очевидно, возможен был и другой вариант», – решил Лучников. Антон рассказывал Фадеичу разные истории о карате, как ему пригодились его искусство в разных экзотических местах мира. Фадеич серьезно и уважительно кивал.

Когда они втроем вышли на улицу, обнаружилось, что три колеса дедушкиного «лендровера» пропороты ножом. «Неужели СВРП занимается такими мелкими пакостями? – подумал Лучников. – Может быть, сам Иг-Игнатьев? На него это похоже».

К ним медленно, все та же шерифская кинематографическая походочка, подходил городской. Рядом кучкой брели присмирившие четверо злоумышленников.

– Видели, офицер? – Лучников показал городовому на «лендровер».

– Эй, вы, – позвал городской четверых. – Расскажите господам, что вы знаете.

Четверо сбивчиво, но с готовностью стали рассказывать. Оказалось, что они попросту шли в «Калипсо» повеселиться, когда к ним подошел какой-то ага, предложил двести тичей... двести тичей? Вот именно – двести... и попросил поугостить «щенка Лучникова». Ну, настроение было хорошее, ну вот и согласились сдурить. Оказалось, что этот ага все время сидел в «Калипсо» и за всей этой историей наблюдал, а потом выскочил перед ними на улицу, проткнул даггером шины у «лендровера», сел в свою машину и укатил. Ярко-желтый, ага, сори мина, старый «форд», кандерлер.

– А какой он был, тот ага? – спросил Лучников. – Вот такой? – И попытался изобразить Игнатьева-Игнатьева, как бы оскалиться, расслюнявиться, выкатиться мордой вперед в ступорозном взгляде.

– Си! Си! – с восторгом закричали они. – Так, ага!

– Вы знаете его? – спросил городской Лучникова.

– Да нет, – махнул рукой Лучников. – Это я просто так. Должно быть, псих какой-нибудь. Забудьте об этом, офицер.

– Псих – это самое опасное, – наставительно проговорил городской. – Нам здесь психи не нужны. У нас тут множество туристов, есть и советские товарищи.

Тут на груди у него забормотал и запульсировал уоки-токи, и он стал передавать в микрофон приметы «психа», а Лучников, Антон и Памела зашли за угол, где и обнаружили красный «турбо» в полной сохранности.

– Можете взять мой кар, ребята, – сказал Лучников. – А я тут немного поброжу в одиночестве.

– Да как же ты, па... – проговорил Антон.

Памела молчала, чудно спокойно улыбаясь, прижавшись щекой к его плечу. Лучников подумал: вполне сносная жена для Антошки. Вот бы поженились гады.

– У меня сегодня ночь ностальгии, – сказал он. – Хочу побродить по Коктебелю. Да ты не бойся, я вооружен до зубов. – Он хлопнул себя по карману «сафари», где и в самом деле лежала «беретта».

Медленно растворялось очарование ночи, малярийный приступ молодости постепенно проходил. Гнусноватое выздоровление. Ноги обрели их собственную тяжесть. Лучников шел по Коктебелю и почти ничего здесь не узнавал, кроме пейзажа. Тоже, конечно, не малое дело – пейзаж.

Вот все перекаты этих гор, под луной и под солнцем, соприкосновение с морем, скалы и крутые лбы, на одном из которых у камня Волошина трепещет маслина, – все это столь отчетливо указывает нам на вездесущее присутствие Души. Вдруг пейзаж стал резко меняться. Лунный профиль Сюри-Кая значительно растянулся, и показалось, что стоишь перед обшир-

ной лунной поверхностью, изрезанной каньонами и щелями клыкастых гор. Ошеломляющая новизна пейзажа! За волошинским седым холмом вдруг вырос некий базальтовый истукан. Шаг в сторону – из моря поднимается неведомая прежде скала с гротом у подножия... Тогда он вспомнил: Диснейленд для взрослых! Он уже где-то читал об этом изобретении кокетельской скучающей администрации. Так называемые «Аркады Воображения». Экое свинство – ни один турист не замечает перехода из мира естественного в искусственный: первозданная природа вливается сюда через искусно замаскированные проемы в стенах. Вливается и дополняется замечательными имитациями. Каждый шаг открывает новые головокружительные перспективы. У большинства посетителей возникает здесь особая эйфория, необычное состояние духа. Не забыта и коммерция. Там и сям в изгибах псевдомира разбросаны бары, ресторанчики, витрины дорогих магазинов. Никому не приходит в голову считать деньги в «Аркадах Воображения», тогда как швырять их на ветер считает своим долгом каждый.

За исключением, конечно, «советских товарищей». Гражданам развитого социализма швырять нечего, кроме своих суточных. Эйфория и у них возникает, но другого сорта, обычная советская эйфория при виде западных витрин. Вежливо взирая на кокетельские чудеса, дисциплинированно тащась за гидами, туристские группы с севера, конечно же, душой влекутся не к видам «воображения», но к окнам Фаберже, Тестова, Сакса, мысленно тысячный раз пересчитывая валюту, все эти паршивые франки, доллары, марки, тичи...

В глухой и пустынный час Лучников увидел в «Аркадах Воображения» вдалеке одинокую женскую фигуру. Без сомнения, советский человек, кто же еще посреди ночи на перекрестке фальшивого и реального миров, под накатом пенного и натурально шипящего, но тем не менее искусственного прибора, будет столь самозабвенно изучать витрину парфюмерной фирмы.

Лучников решил не смущать даму и пошел в сторону, поднимаясь по каким-то псевдостаринным псевдоступеням, пока вдруг не вышел в маленькую уютную бухточку, за скалами которой светился лунный простор. Здесь оказалось, что он не удалился от дамы и парфюмерной витрины, а, напротив, значительно приблизился.

Она его не замечала, продолжая внимательнейшую инспекцию и чтение призывов Елены Рубинштейн, и он мог бы теперь, если бы верил своим глазам, внимательно ее рассмотреть, но он не поверил своим глазам, когда увидел ее ближе.

Он сделал еще несколько шагов в сторону от советской дамы и таким образом приблизился к ней настолько, что теперь уже трудно было глазам своим не поверить...

Он смотрел на ее плащ, туго перетянутый в талии, на милый пук выцветших волос, небрежно схваченный на затылке, на загорелое красивое лицо и лучики морщинок, идущие к уху, будто вожжи к лошади. Она, прищурившись, смотрела на флаконы, тюбики, банки и коробки и тихо шевелила потрескавшимися губами, читая английский текст. «Такую женщину невозможно симитировать, – подумал Лучников. – Поверь своим глазам и не отмахивайся от воспоминаний».

– Таня! – позвал он.

Она вздрогнула, выпрямилась и почему-то зажала ладонью рот. Должно быть, голос его раздался прямо у нее над ухом, ибо он видел, как она осматривается вокруг, ища его на близком расстоянии.

– Андрей, это ты?! – донесся до него отчаянно далекий ее голос. – Где ты? Андрей!

Он понимал: здесь «Аркада Воображения», эти мерзавцы все перепутали, и она может его увидеть, как крохотную фигурку вдалеке, и тогда он стал махать ей обеими руками, стащил куртку, махал курткой, пока наконец не понял, что она заметила его. Радостно вспыхнули ее глаза. Ему захотелось тут же броситься и развязать ей кушак плаща и все с нее мигом стащить, как, бывало, он делал в прошлые годы.

И вот началась эйфория. Подняв руки к небу, Андрей Арсеньевич Лучников стоял посреди странного мира и чувствовал себя ошеломляюще счастливым. Система зеркал, отсутствие плоти, акустика, электронная пакость, но так или иначе, я вижу ее и она видит меня.

Отец, сын, любовь, прошлое и будущее – все соединилось и взбаламутилось непонятной надеждой. Остров и Континент, Россия... Центр жизни, скрещение дорог.

– Танька, – сказал он. – Давай-ка поскорей выбираться из этой чертовой «комнаты смеха».

Арсений Николаевич, разумеется, не спал всю ночь, много курил, вызвал приступ кашля, отвратительный свист в бронхах, а когда наконец успокоилось, еще до рассвета, открыл в кабинете окно, включил Гайдна и сел у окна, положив под маленькую лампочку том русской философской антологии. Открыл ее наугад – оказался Павел Флоренский.

Прочсть ему, однако, не удалось ни строчки. В предрассветных сумерках через перила солярия перелез Антошка и зашлепал босыми ногами прямо к окну дедовского кабинета. Сел на подоконник. Здоровенная ступня рядом с антологией. Вздохнул. Посмотрел на розовеющий восток. Наконец спросил:

– Дед, можешь рассказать о самом остром сексуальном переживании в твоей жизни?

– Мне было тогда примерно столько же, сколько тебе сейчас, – сказал дед Арсений.

– Где это случилось?

– В поезде, – улыбнулся дед Арсений и снова закурил, забыв о недавнем приступе кашля. – Мы отступали, попросту драпали, Махно смешал наши тылы, Москву мы не взяли и теперь бежали к морю. Однажды остаток нашей роты, человек двадцать пять, погрузился в какой-то поезд возле Елизаветграда. Елки точеные, поезд был битком набит девицами, в нем вывозили «смолянок». Бедные девочки, они потеряли своих родных, не говоря уже о своих домах, больше года их состав кочевал по нашим тылам. Они были измученные, грязенькие, но наши, наши девочки, те самые, за которыми мы еще недавно волочили, вальсировали, понимаешь ли, приглашали на каток. Они тоже нас узнали, поняли, что мы свои, но испугались – во что нас превратила Гражданская война – и, конечно, приготовились к капитуляции. Свою девушку я сразу увидел, в первом же купе, ее личико и острые плечики, у меня, милейший, просто голова закружилась, когда я понял, что это моя девушка. Не знаю, откуда только наглость взялась, но я почти сразу пригласил ее в тамбур, и она тут же встала и пошла за мной. В тамбуре были мешки с углем, я постелил на них свою шинель, а винтовку поставил рядом. Я посадил ее на мешки, она подняла юбку. Никогда, ни до, ни после, я острее не чувствовал физической любви. Поезд остановился на каком-то полустанке, какие-то мужики пытались разбить стекло и влезть в тамбур, но я показывал им винтовку и продолжал любить мою девушку. Мужики тогда поняли, что происходит, и хохотали за стеклом. Она, к счастью, этого не видела, она сидела спиной к ним на мешках.

– Потом ты ее потерял? – спросил Антон.

– Да, потерял надолго, – сказал дед Арсений. – Я встретил ее много лет спустя, в 1931 году в Ницце.

– Кто же она? – спросил Антон.

– Вот она, – дед Арсений показал на портрет своей покойной жены, матери Андрея.

– Бабка?! – вскричал Антон. – Арсений, неужели это была моя бабушка?

– Sure, – смущенно сказал дед почему-то по-английски.

II. Программа «Время»

Татьяна Лунина вернулась из Крыма в Москву утром, а вечером уже появилась на «голубых экранах». Помимо своей основной тренерской работы в юниорской сборной по легкой атлетике, она была еще и одним из семи спортивных комментаторов программы «Время», то есть она, Татьяна сия, была личностью весьма популярной. Непревзойденная в прошлом барьеристка – сто десять метров сумасшедших взмахов чудеснейших и вечно загорелых ног, полет рыжей шевелюры и финишный порыв грудью к заветной ленточке, – она унесла из спорта и рекорд, и чемпионское звание, и если звание, что естественно, на следующий год отошло к другой девчонке, то рекорд держался чуть ли не десять лет, только в прошлом году был побит.

Она вернулась в Москву взбаламученная неожиданным свиданием с Андреем (ведь решено было еще год назад больше не встречаться, и вот все снова), весь полет думала о нем, даже иногда вздрагивала, когда думала о нем с закрытыми глазами, а глаза и открывать-то не хотелось, она просто обо всем на свете позабыла, кроме Андрея, и уж прежде всего позабыла о своем законном супруге, супружнике, или, как она его попросту называла, – «Суп». Однако он-то о ней, как обычно, не забыл, и первое, что она выделила из толпы за таможенным барьером, была статная фигура супруга – десятиборца. Приехал встречать на своей «Волге», со всем своим набором московского шика: замшевым пиджаком, часами «Сейко», сигаретами «Винстон», зажигалкой «Ронсон», портфелем «дипломат» и маленькой сумочкой на запястье, так называемой «пидараской». Чемоданчиком своим, поглядыванием на «Сейку», чирканьем «Ронсоном», а также озабоченным туповато-быковатым взглядом муж как бы показывал всем окружающим, возможным знакомым, а может быть, и самому себе, что он здесь чуть ли не случайно, просто, дескать, выдался часок свободного времени, вот и решил катануть в Шереметьево встретить супружницу. Тане, однако, достаточно было одного взгляда, чтобы понять, как он ее ждет, с каким подсасыванием внизу живота, как всегда предвкушает. Достаточно было одного взгляда, чтобы вспомнить о пятнадцатилетних отношениях, обо всем этом: медленное размеренное раздевание, притрагиванье к соскам и к косточкам на бедрах, нарастающий с каждой минутой зажим, дрожь его сокрушительной похоти и свою собственную мерзевшую сладость. Пятнадцать лет, день за днем, и больше ему ничего не надо.

– Вот такие дела, Танька, вот такие, Татьяна, дела, – говорил он по дороге из аэропорта, вроде бы рассказывая о чем-то, что произошло в ее отсутствие, сбиваясь, повторяя, чепуху какую-то нес, весь сосредоточенный на предвкушении. В Москве, конечно, шел дождь. Солнце, ставшее здесь в последние годы редким явлением природы, бледным пятачком висело в мутной баланде над черными тучами, наваливавшимися на башни жилквартала, на огромные буквы, шагающие с крыши на крышу: «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи!» Тане хотелось отвернуться от всего этого сразу – столь быстрые перемены в жизни, столь нелепые скачки! – но она не могла отвернуться и смотрела на тучи, на грязь, летящую из-под колес грузовиков, на бледный пятак и огненные буквы, на быковатый наклон головы смущенного своим бесконечным предвкушением супруга и с тоской думала о том, как быстро оседает поднятая Лучниковым сердечная смута, как улетает в прошлое, то есть в тартарары, вечный карнавал Крыма, как начинает уже и в ней самой пошевеливаться пятнадцатилетнее привычное предвкушение.

Он хотел было начать свое дело чуть ли не в лифте, потом на площадке, и в дверях, и, конечно, дальше прихожей он бы ее не пропустил, но вдруг она вспомнила Лучникова, сидящего напротив нее в постели, освещенного луной и протягивающего к ней руку, вспомнила и окаменела, зажалась, дернулась, рванулась к дверям. Вот идиотка, забыла, вот ужас, забыла сдать, нет-нет, придется подождать, милейший супруг, да нет же, мне нужно бежать, я забыла сдать, да подожди же в самом деле, пусти же в самом деле, ну как ты не понимаешь, забыла сдать валютные документы! Какая хитрость, какой инстинкт – в позорнейшей возне, в диком

супружеском зажиме сообразила все-таки, чем его можно пронять, только лишь этим, каким-нибудь священным понятием: валютные документы – он тут же ее отпустил. Татьяна выскочила, помчалась, не дав ему опомниться, скакнула в лифт, ухнула вниз, вырвалась из подъезда, перебежала улицу и, уже плюхаясь в такси, заметила на балконе полную немомого отчаяния фигуру супруга, статуя Титана с острова Пасхи.

В Комитете ей сегодня совершенно нечего было делать, но она ходила по коридорам очень деловито, даже торопливо, как и полагалось тут ходить. Все на нее глазели: среди рутинного служилого люда, свывкшегося уже с застоявшейся погодой, она, загорелая и синеглазая, в белых брюках и в белой же рубашке из плотного полотна – костюм, который ей вчера купил Андрей в самом стильном магазине Феодосии, – она выглядела существом иного мира, что, впрочем, частично так и было: ведь вчера еще вечером неслась в «литере» под сверкающими небесами, вчера еще ночью в «Хилтоне» мучил ее любимый мужик, вчера еще ужинали во французском ресторане на набережной, смотрели на круизные суда и яхты со всех концов мира, а над ними каждые четверть часа пролетали в темном небе «боинги» на Сингапур, Сидней, Дели... и обратно.

Вот так дохожусь я тут в Комитете проклятом до беды, подумала она, и действительно доходилась. Из Первого отдела вышла близкая подруга секретарша Веруля с круглыми глазами.

– Татьяна, «телега» на тебя, ну поздравляю, такую раньше и не читала.

– Да когда же успели?

– Успели...

– А кто?

– Не догадываешься?

Она догадывалась, да, впрочем, это и не имело значения, кто автор «телеги». Она и не сомневалась ни на минуту, что после встречи с Лучниковым явится на свет «телега». Поразила ее лишь оперативность – сразу, значит, с самолета стукач помчался в Первый отдел.

– Ой, мамочка, там написано, деточка-лапочка, будто ты две ночи с белогвардейцем в отеле жила. Врут, конечно?

Они устроились в закутке, за машбюро, куда никто не заходил, и там курили привезенные Татьяной сигареты «Саратога».

Веруля, запойная курильщица, готова была за одну такую сигарету продать любую государственную тайну.

– Не врут? Ну поздравляю, Танька. Да я не за две, а за одну такую ночь, за полночи, за четвертиночку всю эту шарашку со всеми стукачами на хер бы послала.

«Дела, – подумала Татьяна Лунина, так и подумала в манере своего мужа, – ну и дела». Как ни странно, атмосфера Комитета со снующими по коридорам бывшими чемпионами успокаивала и бодрила. Все эти деятели спортивного ведомства сами были либо героями каких-либо «телег», либо сочинителями, а часто и тем и другим одновременно. То и дело кто-нибудь становился «невыездным» на год – на два – на три, но если за это время не опускался, не спивался, не «выпадал в осадок», в конце концов его снова начинали посылать сначала в соц-, а потом и в капстраны. Так что иначе как словом «дела» об этом и не подумаешь, да и думать не стоит. Мысль об Андрее в этот момент Татьяну не посетила. Она подарила Веруле всю парфюмерию, которая у нее оказалась в сумке, и рассказала о белом костюме, который вроде вот и не глядится здесь в Москве, а между тем куплен в феодосийском «Мюр и Мерилизе» за шестьсот тичей, и там-то он глядится, любой западный человек с первого взгляда понимает, где такая штука куплена. Тут до нее в закуток стало иногда долетать ее собственное имя. «Лунину не видели?» «Говорят, Таня Лунина здесь». «Сергей Палыч спрашивал – не здесь ли товарищ Лунина?» Она поняла, что нужно побыстрее смыться.

– Какая странная жизнь, – вздохнула прыщеватая лупоглазенькая Веруля. – Ведь здесь за такой костюм и двадцатника не дадут, а джинсовка идет за двести. Сколько стоит, Танька, в Крыму джинсовый сарафан с кофточкой?

– Тридцать пять тичей, – с полной осведомленностью сказала Татьяна. – А на «сейле» можно и за двадцать.

– Ах, как странно, как странно... – прошептала Веруля.

Тут прошел по близкому коридору какой-то массовый топот, голоса, стук дверей, и сразу все затихло: началось собрание. Татьяна тогда быстро расцеловала погруженную в размышления Верулю, выскочила в коридор, прошлепала вниз по лестнице, распахнула двери в переулок и увидела напротив зеленую «Волгу» и за рулем истомившегося ожиданием супруга. «Ну, ничего не поделаешь», – подумала тогда она и направилась к машине. Наличие «телеги» в секретном отделе как бы приблизило к ней мужа, и в предстоящем совокуплении уже не виделось ей ничего противоестественного.

И все-таки опять сорвались у супруга сокровенные планы. Какие-то злые силы держали его сегодня за конец на вечном взводе. Эдакие сверхнагрузки, перегрузки не всякий и выдержит без соответствующей подготовки. Едва они подъехали к своему кооперативу на бетонных лапах – «чертог любви», так его застенчиво называл в тайниках души бывший десятиборец, – как тут же у него сердце екнуло: у подъезда стоял «рафик» с надписью «Телевидение», а на крыльце валандались фраера из программы «Время» – явно по Танькину душу. Оказалось, некому сегодня показаться на экране: из всех споркомментаторов одна Лунина в городе. А если бы самолет опоздал, тогда как бы обошлось? Тогда как-нибудь обошлись бы, а вот сейчас никак не обойдемся. Логика, ничего не скажешь. Что же это за жизнь такая пошла, законный супруг законной супруге целый день не может вправить. Какой-то скос в жизни, не полный порядок.

Даже Татьяна немного разозлилась и, разозлившись, тут же поняла, что это уже московская злость и что она уже окончательно вернулась в свой настоящий мир, а Андрей Лучников снова – в который уже раз – уплыл в иные, не вполне реальные пространства, куда вслед за ним уплыл и Коктебель, и Феодосия, и весь Крым, и весь Западный мир.

Тем не менее она появилась в этот вечер на экранах на обычном фоне Лужников какая-то невероятная и даже идеологически не вполне выдержанная. Она читала дурацкие спортивные новости, а миллионам мужиков по всей стране казалось, что она вещает откровения Эроса. Супруг имел ее на ковре у телевизора. Он так все-таки умело сконцентрировался, что теперь доводил ее до изнеможения. Он был влюблен в каждую ее жилочку и весьма изощрен в своем желании до каждой жилочки добраться. Надо сказать, что он никогда ее не ревновал: хочешь романтики, ешь на здоровье, трахаешься на стороне, ну и это не беда, лишь бы мне тоже обламывалось.

III. Хуемотина

Виталий Гангут ранее, еще год назад, находя в себе какие-либо малейшие признаки старения, очень расстраивался, а теперь вот как-то пообвыкся: признаки, дескать, как признаки – ну волосок седой полез, ну хруст в суставах, ну что-то там иногда с мочевым пузырем случается, против биологии не очень-то возразишь. Призванная на помощь, верная спутница жизни ирония весьма выручала. Как же иначе прикажете встречать все эти дела, как же тут обойдешься без иронии? Веселое тело кружилось и пело, хорошее тело чего-то хотело, теперь постарело чудесное тело, и скоро уж тело отправят на мыло. Так, кокетничая с собой, совсем еще не старый, со средней позиции, Гангут встречал признаки старения.

И вдруг обнаружился новый, обескураживающий. Вдруг Гангут открыл в себе новую тягу. Карты на стол, джентльмены, он обнаружил, что теперь его постоянно тянет вернуться домой до девяти часов вечера. Вернуться до девяти, заварить чаю и включить программу «Время» – вот она, старость, вот он, близкий распад души.

Я, брошенный всеми в этой затхлой квартире, слегка заброшенный и совсем заброшенный господин Гангут наедине с телевизором, наедине с чудовищным аппаратом товарища Лапина. «Вахта ударного года». Сводка идиотической цифири. Четыре миллиона зерновых – это много или мало? Всесоюзная читательская конференция. Все аплодируют. Мрачные уравновешенные лица. Вручение ордена Волгоградской области. Старики в орденах. Внесение знамен. Бульдозеры. Опять «Вахта ударного года». Ширится борьба за права человека в странах капитала. Порабощенная волосатая молодежь избивает полицию. Израильская военщина издевается над арабской деревенщиной. Снова – к нам! Мирно играют арфистки, экая благодать, стабильность, ордена, мирные дети, тюльпаны... экая хуемотина... Гангут по старой диссидентской привычке вяло иронизировал, но на самом-то деле размагничивался в пропагандистском трансе, размягчался, как будто ему почесывали темя, и сам, конечно, сознавал, что размагничивается, но отдавался, распадался, ибо день за днем все больше жаждал этих ежевечерних размягчений. Прокатившись по кризисным перекатам западной действительности, поскользив по мягкой благодати советского искусства, программа «Время» приближалась к самому гангutowскому любимому, к спортивным событиям. Где-то он вычитал, что современный телезритель хотя и следит за спортивными событиями, размягчившись в кресле, тем не менее все-таки является как бы их участником, и в организме его без всяких усилий в эти моменты происходят спортивные оздоровляющие изменения. Вздор, конечно, но приятный вздор. «О спортивных событиях расскажет наш комментатор...» Их было семь или восемь, и Гангут относился к ним чуть ли не как к своей семье, нечто вроде «родственников» из романа Брэдбери. Для каждого комментатора он придумал прозвище и не без удовольствия пытался угадать, кто сегодня появится на экране: «Педант» или «Комсомолочка», «Дворяночка» или «Агит-Слон», «Засоня», «Лягушка», «Синенький»... Оказалось, сегодня на экране редкая гостья – «Сексапилочка» Татьяна Лунина. Вот именно ее появление и потрясло Гангута, именно Лунина, с ее поблескивающими глазами на загорелом лице, в ее сногшибательной по скромности и шику белой куртке, как бы сказала в тот вечер Гангуту прямо в лицо: ты, Виталька, расползающийся мешок дерьма, выключайся и катись на свалочку, спекся.

Они когда-то были знакомы. Когда-то даже что-то наклевывалось между ними. Когда-то пружинистыми шагами входил на корт... Там Таня подрезала подачи. Когда-то показывал в Доме кино отбитый в мучительных боях с бюрократией фильм... Там в первом ряду сидела Татьяна. Когда-то заваливался в веселую компанию или в ресторан, задавал шороху... Там иной раз встречалась Лунина. Они обменивались случайными взглядами, иной раз и пустяковыми репликами, но каждый такой взгляд и реплика как бы говорили: «Да-да, у нас с вами может получиться, да-да и почему же нет, конечно, не сейчас, неподходящий момент, но

почему бы не завтра, не послезавтра, не через год...» Потом однажды на подпольной выставке, вернее, подкрышно-чердачной выставке художника-авангардиста он встретил Лунину с Лучниковым, заморским своим другом, крымским богачом, каждый приезд которого в Москву поднимал самумы на чердаках и в подвалах: он привозил джазовые пластинки, альбомы, журналы, джинсы и обувь для наших нищих ребят, устраивал пьянки, колесил по Москве, таща за собой вечный шлейф девок, собутыльников и стукачей, потом улетал по какому-нибудь умопомрачительному маршруту, скажем в Буэнос-Айрес, и вдруг возвращался из какого-нибудь обыкновенного Стокгольма, но для москвича ведь и Стокгольм, и Буэнос-Айрес, в принципе, одно и то же, одна мечта. Тогда на том чердачном балу не нужно было быть психологом, чтобы с первого взгляда на Андрея и Татьяну понять – роман, романище, электрическое напряжение, оба под высоковольтным током счастья. А у Гангута как раз по приказу Комитета смыли фильм, на который потрачено было два года; как раз вызывали его на промывку мозгов в Союз, как раз не пустили на фестиваль в Кан, зарезали очередной сценарий, и жена его тогдашняя Дина устроила безобразную сцену из-за денег, которые якобы пропиваются в то время, как семья якобы голодает, шумела из-за частых отлучек, то есть «откровенного блядства под видом творческих восторгов». Словом, неподходящий был момент у Гангута для созерцания чужого счастья. Вместе с другими горемыками он предпочел насосаться гадкого вина, изрыгать анти-советчину и валяться по углам.

Впрочем, чудное было время. Хоть и душили нас эти падлы, а время было чудесное. Где теперь это время? Где теперь тот авангардист? Где две трети тогдашних гостей? Все отвалили за бугор. Израиль, Париж, Нью-Йорк... Телефонная книжка – почти ненужный хлам. «Ленинград, я еще не хочу умирать, у меня телефонов твоих номера...», а в Питере звонить уже почти некому. Как они проходят, эти проклятые, так называемые годы, какие гнусные мелкие изменения накапливаются в жизни в отсутствие крупных изменений. Кошмарен счет лет. Ужасно присутствие смерти. Дик и бессмертный быт.

Виталий Гангут рывком выскочил из продавленного кресла и вперился в цветное изображение Татьяны Луниной. У нее такой вид, какой был тогда. Неужели наши девки еще могут быть такими? Неужели мы еще живы? Неужели Остров Крым еще плавает в Черном море?

«Сборная юниоров на соревнованиях в Крыму победила местных атлетов по всем видам программы. Особенного успеха добились...» Что она говорит? Почему я не женился на ней? Она не дала бы мне опуститься, так постареть, так гнусно заколачивать деньги на научпопе. Она ведь не Линка, не Катька, не прочие мои идиотки, она – вот она... Где же Андрюшка? Сколько лет мы не виделись с этим рыжим? В прошлом году или в позапрошлом мы ехали вместе с юга на моей развалюхе и ругались всю дорогу. Как безумные мы только о политике тогда и бубнили: о диссидентах, о КГБ, о герантократии, о Чехословакии, о западных леваках, о национальной психологии русских, о вонючем мессианстве, об идиотской его теории Общей Судьбы... Именно тогда Лучников сказал Гангуту, что он, его друзья и газета «Курьер» борются за воссоединение Крыма с Россией, а тот взорвался и обозвал его мазохистом, мудаком, самоубийцей, пидаром гнойным, вырожденцем с расщепленной психологией и хуем моржовым.

– Вы, сволочи буржуазные, с жиру беситесь, невропаты проклятые, вы хотите опозорить наше поколение, убить до срока нашу надежду, как и ваши отцы, золотопогонная падаль, проорали в кабаках всю Россию и сбежали! – так орал Гангут, пока его «Волга», грохоча треснувшим колесом, катила к Москве.

– Да ведь твой-то отец, Виталий, был матросом на красном миноносце, он же дрался как раз за Крым, идиот ты паршивый! – так же орал в ответ Лучников. – Вы тут ослепли совсем из-за того, что вам не дают снимать ваши говенные фильмы! Ослепли от злобы, выкидыши истории! России нужна новая сперма!

Перед Москвой в какой-то паршивой столовке они вроде бы помирились, утихли, с усмешечками в прежнем ироническом стиле своей дружбы стали обращаться друг к другу «товарищ Лучников», «господин Гангут», договорились завтра же встретиться, чтобы пойти вместе к саксофонисту Диме Шебеко, хотя и знали оба, что больше не встретятся, что теперь их жизни начнут удаляться одна от другой, что каждый может уже причислить другого к списку своих потерь.

Чем было для поколения Гангута в Советском Союзе курьезное политико-историко-географическое понятие, именуемое Остров Крым? Надеждой ли на самом деле, как вскричал в запальчивости Гангут? С детства они знали о Крыме одну лишь исчерпывающую формулировку: «На этом клочке земли временно окопались белогвардейские последыши черного барона Врангеля. Наш народ никогда не прекратит борьбы против ошметков белых банд, за осуществление законных надежд и чаяний простых тружеников территории, за воссоединение исконной русской земли с великим Советским Союзом». Автор изречения был все тот же, основной автор страны, и ни одно слово, конечно, не подвергалось сомнению. В пятьдесят шестом, когда сам автор был подвергнут сомнению, в среде новой молодежи к черноморскому острову возник весьма кипучий интерес, но даже тогда, если бы одному из активнейших юношей Ленинграда Виталию Гангуту сказали, что через десять лет близким его другом станет «последыш последышей», он счел бы это вздором, дурацкой шуткой, а то и буржуазной провокацией. Его отец действительно дрался за Остров во время Гражданской войны и находился на миноносце «Красная заря», когда тот был накрыт залпом главного калибра с английского линкора. Вынырнув из-под воды, папаша занялся периодом реконструкции, потом опять утонул. Вынырнув все-таки из ГУЛАГа, папаша Гангут рассказывал о многом, иногда и о Крыме. Наш флот был тогда в плачевном состоянии, говорил он. Если бы хоть узенькая полоска суши соединяла Крым с материком, если бы Чонгар не был так глубоководен, мы бы прошли туда по собственным трупам. Энтузиазм в те времена, товарищи, был чрезвычайно высок.

В первые послесталинские годы Остров потерял уже свою мрачную, исключавшую всякие вопросы формулировку, но от этого не приблизился, а, как ни странно, даже отдалился от России. Возник образ подозрительного злчного места, международного притона, Эльдorado авантюристов, шпионов. Там были американские военные базы, стриптизы, джаз, буги-вуги, словом, Крым еще дальше отошел от России, подтянулся в кильватер всяким там Гонконгам, Сингапурам, Гонолулу, стал как бы символом западного разврата, что отчасти соответствовало действительности. Однажды в пьяной компании какой-то морячок рассказывал историю о том, как у них на тралышке вышел из строя двигатель и они, пока чинились, всю ночь болтались в виду огней Ялты и даже видели в бинокль надпись русскими буквами «Дринк кока-кола». Буквы-то были русские, но Ялта от берегов русского смысла была даже дальше, чем Лондон, куда уже начали ездить, не говоря о Париже, откуда уже приезжал Ив Монтан. И вдруг Никита Сергеевич Хрущев, ничего особенного своему народу не объясняя, заключил с Островом соглашение о культурном обмене. Началось мирное сосу-сосу. Из Крыма приехал скучнейший фольклорный татарский ансамбль, зато туда отправился Московский цирк, который произвел там подобие землетрясения, засыпан был цветами, обсосан всеобщей любовью. В шестидесятые годы стали появляться первые русские визитеры с Острова, тогда-то и началось знакомство поколения Гангута со своими сверстниками, ибо именно они в основном и приезжали, старые врэвакуанты побаивались. В ранние шестидесятые молодые островитяне производили сногшибательное впечатление на москвичей и ленинградцев. Оказывается, можно быть русским и знать еще два-три европейских языка как свой родной, посетить десятки стран, учиться в Оксфорде и Сорбонне, носить в кармане американские, английские, швейцарские паспорта. У себя дома крымчане как-то умудрялись жить без паспортов. Они каким-то странным образом не считали свою страну страной, а вроде как бы временным лагерем. И все-таки были русскими, хотя многого не понимали. Они, например, не понимали кипучих тогдашних

споров об абстрактном искусстве или о джазе. Острейшие московские вопросы вызывали у них только улыбки, пожатие плечами, вялый ответ – вопросец *Why not?* – «почему нет?». Поколению, выросшему под знаком «почему да?», трудно объяснить им свою борьбу, проблемы, связанные с брюками, с прическами, с танцами, с манерой наложения красок на холсты, с «Современником», с театром на Таганке. Впрочем, находились и такие, кто все хотел понять, во все старался влезть, и первым из таких был Андрюша Лучников.

Гангут познакомился с Лучниковым, как ни странно, на Острове. Он был одним из первых «советикусов» на Ялтинском кинофестивале. В тот год случилась какая-то странная пауза в генеральном деле «закручивания гаек», и ему вдруг разрешили повезти свою вторую картину на внеконкурсный показ. Утром в гостиницу явился к нему рыжий малый в застиранном джинсовом пиджаке, хотя и с часами «Ролекс» на запястье, член совета адвайзеров газеты «Русский Курьер» Андрей А. Лучников, принес толстый, как подушка, воскресный выпуск, в котором о нем, Гангуте, было написано черным по белому: «Один из ведущих режиссеров „новой волны“ мирового синема Виталий Гангут говорит по этому поводу...» Так непринужденно, в одном ряду со всякими Антониони, Шабролями, Бергманами, Бунюэлями, «один из...». Гангут, конечно, от Острова обалдел, поддался на соблазны, полностью морально разоружился. Быть может, тогда у него впервые и явилась идея, что Остров Крым принадлежит всему их поколению, что это как бы воплощенная мечта, модель будущей России.

В те времена все говорилось, писалось, снималось и ставилось от имени поколения. Где они сейчас, наши шестидесятники? Сколько их ринулось в израильскую щель и рассеялось по миру? Вопросы не риторические, думал Гангут. В количестве и в географии расселения – тоже приметы катастрофы. Отъезд – это поступок, так говорят иные. Нельзя всю жизнь быть глиной в корявых лапах этого государства. Однако есть ведь и другие поступки. Самые смелые сидят в тюрьмах. Отъезд – это климакс, говорят другие, и, может быть, это вернее. Оставшиеся говорят «катастрофа» и покупают «жигули». Вдруг оказывается, что можно хорошие деньги делать в «Научпопе», плюнуть на честолубие и заниматься самоусовершенствованием, которое оборачивается ежедневным киселем в кресле перед программой «Время». Все реже звонил у Гангута телефон, все реже он выходил вечерами из дома, все меньше оставалось друзей... вот и Андрей Лучников в списке потерь, да и какой он русский, он не наш, он западный вывихнутый левак, и пошел бы он подальше... все меньше становилось друзей, все меньше баб, причем, и дружок в штанах все реже предъявлял требования.

Смутный этот фон, или, как сейчас говорят, бэкграунд, дымился за плечами Виталия Гангута, когда он стоял, согнувшись, вперившись потревоженным взглядом в лицо спорткомментаторши Таньки Луниной. Три или четыре минуты она полыхала на экране, а потом сменилась сводкой погоды. Гангут рванулся, схватил пиджак... Год назад он облегал фигуру, теперь не застегивался. Три дня не буду жрать, снова начну бегать... схватил пиджак, заглянул в бумажник... те, прежние, большие деньги, башли триумфа, никогда не залеживались, эти нынешние малые деньжата, те, что нагорбачивались унижением, всегда в бумажнике... прошагал по квартире, отражаясь в грязных окнах, в пыльных зеркалах, гася за собой свет, то есть исчезая, и наконец у дверей остановился на секунду, погасил свое последнее отражение и вздохнул: к едреной фене, завтра же с утра в ОВИР за формулярами, линять отсюда, линять, линять...

Ознобец восторга, то, что в уме он называл молодой отвагой, охватил Гангута на лестничной площадке. Как он все бросит, все отряхнет, как чисто вымоет руки, как затрещат в огне мосты, какие ветры наполнят паруса! Было бы, однако, не вполне честно сказать, что молодая отвага впервые посещала знаменитого в прошлом режиссера. Вот так же вечерами выбегал на улицу, нервно, восторженно гулял, в конце концов напивался где-нибудь по соседству, а утром после трех чашек кофе ехал на «Научпоп» и по дороге вяло мусолил отступные мысли о климаксе, о поколении, о связях с почвой, о том, что вот недавно его имя мелькнуло в какой-

то обзорной статье, значит разрешили упоминать, а потом, глядишь, и фильм дадут ставить, а ведь любой мало-мальски неконформистский фильм полезнее для общего дела, чем десяток «Континентов». Фальшивое приглашение в Израиль, возникшее в короткий период диссидентщины, тем не менее тщательно сохранялось как залог для будущих порывов молодой отваги.

Конечно, сегодняшний порыв был из ряда вон выходящим, в самом деле какой-то приступ молодости, будто вдруг открылись пороховые погреба, будто забил где-то в низах гормональный фонтанчик. Прежде всего он найдет Таню Лунину и узнает у нее об Андрее. Нужно немедленно искать коммуникацию с ним. В Крыму мощная киноиндустрия. В конце концов, не оставит же редактор «Курьера» своего старого кореша. В конце концов, он все-таки Виталий Гангут, «один из», в конце концов, еще совсем недавно в Доме кино сказал ему, когда икру-то жрали, тот красавчик голливудчик-молодчик: «I know, I know, you are very much director». В конце концов его отъезд вызовет «звук». Итак, прежде всего он найдет Таню Лунину и, если будет подходящий случай, переспит с ней.

Красный глазок лифта тупо взирает Гангуту под правую ключицу. Лестничная шахта четырнадцатэтажного кооперативного дома гудела что-то как бы авиационное. Откуда-то доносилась песня «Neu Jude». Двери лифта разъехались, и на площадку вышел сосед Гангута, глядящий исподлобья и в сторону мужчины средних лет с огромной собакой породы московская сторожевая. Он был соседом Гангута уже несколько лет, но Гангут не знал ни имени, ни звания и даже за глаза упоминал его, как по сценарной записи, «глядящий исподлобья и в сторону мужчины средних лет с огромной собакой породы московская сторожевая». Сосед никогда не здоровался с Гангутом, больше того – никогда не отвечал на приветствие. Однажды Гангут, разозлившись, задержал его за пуговицу. Отвечать надо. Что? – спросил сосед. Когда вам говорят «доброе утро», надо что-нибудь ответить. Да-да, сказал сосед и прошел мимо, глядя исподлобья и в сторону. Диалог произошел, разумеется, в отсутствие собаки породы московская сторожевая. Гангут полагал, что урок пойдет впрок, но этого не случилось. Сосед по-прежнему проходил мимо Гангута, будто не видел его или видел впервые.

– Ах, здравствуйте, – вдруг сказал сосед прямо в лицо.

Собака мощно виляла хвостом.

Гангут изумился:

– Здравствуй, если не шутите.

Народное клише весьма подходило к случаю.

Сосед плутовато засмеялся:

– Чудесный ответ, и в народном духе. Какой он все-таки у нас умница.

– Кто? – спросил Гангут.

– Наш народ. Лукав, смекалист.

Сосед слегка придержал Гангута рукой за грудь. Лифт ушел.

– Да зайдемте ко мне, – сказал сосед.

– Простите? – не понял Гангут.

– Да зайдемте же, в самом деле, ко мне. – Сосед хитровато смеялся. – Что же, в самом деле, живем, живем...

Он был слегка пьяноват.

– Никогда бы к вам не зашел, – сказал Гангут. – А вот сегодня зайду.

– Именно сегодня, – продолжал хихикать сосед. – Гости. Юбилей. Да заходите же.

Гангут был введен в пропитанную запахами тяжелой праздничной готовки квартиру. Оказалось, полстолетия художественному редактору Ершову, то есть «человеку, глядящему исподлобья и в сторону», нелюбезному соседу. Большое изобилие украшало стол, торчали ножки венгерских индеек, недоразрушенные мраморные плоскости студня отсвечивали богатую люстру. С первого же взгляда на гостей Гангут понял, что ему не следовало сюда приходить.

– А это наш сосед, русский режиссер Виталий Семенович Гангут, – крикнул юбиляр.

Началось уплотнение, после которого Гангут оказался на краю дивана между дамой в лоснящемся парике и хрупким ребенком-школьником, из тех, что среди бела дня звонят в дверь и ошарашивают творческую интеллигенцию вопросом: «Извините, пожалуйста, нет ли у вас бумажной макулатуры?»

– ...Русский режиссер... небесталанный, одаренный... мы бы, если бы... ну, помнишь эта штука историческая о нашей родине... русский режиссер... задвинули на зады... сами знаете кто...

С разных концов стола на Гангута смотрели кувшинные рыла.

– Это почему же такой упор на национальность? – спросил он свою соседку.

– А потому, что вас тут раньше жидом считали, Виталик, – с полной непринужденностью и некоторой сердечностью ответила дама, поправляя одновременно и грудь и паричок.

– Ошиблись, – крикнул мужской голос с другого конца стола.

Послышался общий смех, потом кто-то предложил за что-то выпить, все стали быстро выпивать-закусывать, разговор пошел вразнобой, о Гангуте забыли, и лишь тогда, то есть с весьма значительным опозданием, он оттолкнул локтем тарелку, на которую уже навалили закуски – кусок студня, кусок индюшатины, кусок пирога, селедку, винегрет, – и обратился к соседке с громким вопросом:

– Что это значит?

Через стол тут же протянулась крепкая рука, дружески сжала ладонь Гангута. Мужественная усатая физиономия – как это раньше не замечена – улыбалась, по-свойски, по-товарищески, как раньше бы сказали – от лица поколения.

– Евдокия, как всегда, все упрощает. Пойдем, Виталий, на балкон, подымим.

Воздвиглась над столом большущая и довольно спортивная фигура в черном кожаном пиджачище, ни дать ни взять командарм революции. Гангут поднялся, уже хотя бы для того, чтобы выбраться из-за стола, избавиться от диванного угла и от соседки, копошащейся в своем кримплене.

– Олег Степанов, – представился на балконе могучий мужчина и вынул пачку «Мальборо». – Между прочим, отечественные. Видите, надпись сбоку по-русски. Выпускается в Москве.

– Первый раз вижу, – пробормотал Гангут. – Слышал много, а вот пробую впервые. – Затянулся. – Нормальный «Мальборо».

– Вполне. – Олег Степанов прогулялся по обширному балкону, остановился в метре от Гангута. – Будете смеяться, но мы о вас много говорили у Ерша как о еврее.

– Несколько вопросов, – сказал Гангут. – Почему вы говорили обо мне? Почему много? Почему как о еврее или о нееврее, о татарине, об итальянце, что это значит?

– Сейчас люди ищут друг друга. Идет исторический отбор, – просто и мягко пояснил Олег Степанов.

– Вы славянофилы?

– Да, конечно, – улыбнулся Олег Степанов. – Согласитесь, нужно помочь национальному гению, он задавлен. Естественно, ищешь русских людей в искусстве. Вот ваше творчество, эти три ваших картины, несмотря на все наносные модные штучки, казались лично мне все-таки русскими, в них было здоровое ядро. Конечно, звучание фамилии, отчество Семенович, а самое главное – ваше окружение вызывали недоверие, но исследование показало, что я был прав, и я этому рад, поверьте, Виталий, искренне.

– Исследование? – переспросил Гангут.

Олег Степанов серьезно кивнул:

– Мы выяснили ваши корни. Может быть, вы и сами не знаете, что Гангуты на Руси пошли с того самого дня русской славы, с той самой битвы у мыса Гангут. Был взят в плен шведский юнга. Потом уже идет только русская кровь. Что же, шведы, варяги – это приемлемо...

– Вы это серьезно? – спросил Гангут.

Они стояли на балконе десятого этажа в четырнадцатизэтажном доме. Внизу на перекрестке светился дорожный знак и мигал светофор. Далее за тоненькой полоской реки грохотился скальными глыбами и угасал перед лицом ночи, превращаясь в подобие пещерного города, новый микрорайон. Над ним бедственно угасало деревенское небо, закат прозябания, индустриальные топи Руси. Жуткая тоска вдруг налетела на Гангута. Вид тоски, когда нельзя отыскать причины, когда тебя уже нет, а есть лишь тоска. Он сделал даже резкое движение головой, как будто боролся с водоворотом. Вынырнул. Олег Степанов стоял, облокотившись на перила балкона и глядя в те же зеленоватые, ничего не обещающие хляби.

– Евреи – случайные гости на нашей земле, – проговорил он, не двигаясь.

«Надо уйти, – подумал Гангут. – Немедленно вон из этого вертепа». Он не ушел чуть ли не до утра, напротив, жрал из своей, похожей уже на помойку тарелки,пил все подряд и дурел и слушал Олега Степанова, который все уговаривал его завтра же позвонить какому-то Дмитрию Валентиновичу, который может ему помочь. Да кто он такой? Министр, секретарь ЦК, генерал? Он птаха невидная, да певучая. Позвони ему завтра и назовись, глядишь, и изменится твоя судьба.

На рассвете тот же Степанов перетащил Гангута через лестничную площадку в его квартиру, положил на тахту, вытер даже извержения.

Некоторое время он сидел рядом с бесчувственным телом, пытаясь перевернуть его с живота на спину или хотя бы пролезть рукой под живот. Все было тщетно – глыба русской плоти только сопела и ничего не чувствовала. Олег Степанов, отчаявшись, сел в кресло к письменному столу, полез в свои собственные штаны и взялся. Перед ним стояла фотография – двое голых парней и одна голая девушка на фоне морского прибоя. Глядя на эту фотографию и сдержанно рыча, теоретик начал и кончил. Потом аккуратно все вытер и удалился, оставив на письменном столе номер телефона.

IV. Любопытный эпизод

Марлен Михайлович Кузенков тоже видел в тот вечер на телеэкране комментатора Татьяну Лунину, но она не произвела на него столь оглушительного впечатления, сколь на впечатлительного артиста Виталия Гангута. Просто понравилась. Приятно видеть, в самом деле, на телеэкране хорошо отдохнувшую, мило одетую женщину. Марлен Михайлович полагал, что и всему народу это приятно, за исключением совсем уже замшелых «трезоров», принципиальных противников эпохи телевидения. Между тем симпатичные лица на экране не вредны, напротив, полезны. Сейчас можно иной раз на улице или в театре заметить лицо, не отягощенное социальными соображениями. На месте товарищей с телевидения Марлен Михайлович активно привлекал бы в свою сеть такие лица, и не только по соображениям агитационным, как некоторым верхоглядам может показаться, но и ради глубоких исторических сдвигов в стране. Такие лица могут незаметно, год за годом, десятилетие за десятилетием, изменять психологическую структуру населения.

Эта мысль о лицах промелькнула в голове Кузенкова, пока он смотрел на Таню, но не исчезла навсегда, а зацепилась где-то в спецхране его мозга для будущего использования. Таким свойством обладал Марлен Михайлович – у него ничего не пропадало.

Он, конечно, еще утром узнал, что Таня вернулась из Крыма. Больше того, он уже знал, конечно же, что она в Коктебеле встретилась с Андреем Лучниковым и провела с ним два дня, то есть двое суток в треугольнике Феодосия – Симферополь – Ялта. Материалы по этой встрече поступили на стол Марлена Михайловича, смеем вас уверить, раньше «телеги» в Первый отдел Госкомитета по спорту и физвоспитанию. Такая уж у Марлена Михайловича была работа – все знать, что касается Крыма. Не всегда ему и хотелось все знать, иногда он, секретно говоря, даже хотел чего-нибудь не знать, но материалы поступали, и он знал все. По характеру своей работы Марлену Михайловичу Кузенкову приходилось «курировать» понятие, именуемое официально зоной Восточного Средиземноморья, то есть Остров Крым.

«Итак, она здесь, а он еще в Симфи», – прикинул Кузенков, когда заглянул в комнату, где жена и дети расселись вокруг телевизора в ожидании какого-то очередного фестиваля песни «Гвоздика-79» или «80» или на будущее – «84».

Предстоящий маршрут Лучникова был ему приблизительно известен: Париж, Дакар, Нью-Йорк, кажется, Женева, потом опять Париж, однако зигзаги этой персоны нельзя было предвидеть, и никто не смог бы поручиться, что Андрей завтра не забросит все дела и не прикатит за Татьяной в Москву. Кажется, у него еще не истекла виза многократного использования. Завтра нужно будет все это уточнить.

«Да перестань же ты, Марлен, все время думать о делах, – одернул себя Кузенков. – Подумай обо всем об этом с другого угла. Ведь Лучников не только твой объект, но и друг. Ведь этот, как вы его называете между собой, ОК, то есть Остров О'кей, не только „политический анахронизм“, но и чудесное явление природы. Тебе ли уподобляться замшелым „трезорам“, которые по тогдашнему выражению „горели на работе“, а проку от которых было чуть, одна лишь кровь и пакость. Ты современный человек. Ты, взявший имя от двух величайших людей тысячелетия».

Сегодня днем на улицах Москвы с Марленом Михайловичем случился любопытный эпизод. Вообще-то, по своему рангу Марлен Михайлович мог бы и не посещать улиц Москвы. Коллеги его уровня, собственно говоря, улиц Москвы не посещали, а только с вяловатым любопытством взирали во время скоростных перемещений из дачных поселков на Старую площадь, как за окнами «персоналок» суетятся бесчисленные объекты их забот. Марлен Михайлович, однако, считал своим долгом поддерживать живую связь с населением. У него была собственная машина, черная «Волга», оборудованная всякими импортными штучками из сотой сек-

ции ГУМа, и он с удовольствием ее водил. Ему было слегка за пятьдесят, он посещал теннисный корт «Динамо», носил английские твидовые пиджаки и ботинки с дырочным узором. Эти его вкусы не полностью одобрялись в том верховном учреждении, где он служил, и он это знал. Конечно, слово «международник» выручало – имеешь дело с буржуазией, нужна дымовая завеса, – но Марлен Михайлович отлично знал, что ниже этажом по его адресу молчат, а на его собственном этаже кое-кто иногда с легкой улыбкой называет его «теннисистом» и острит по поводу имени Марксизм-Ленинизм – этот вкусовой экстремизм конца двадцатых вызывает сейчас понятное недоверие у аппарата, ибо пахнет левым уклоном в корнях, а выше этажом тоже молчат, но несколько иначе, чем внизу, пожалуй, там молчат со знаком «плюс-минус», в котором многообещающий крестик все-таки превалирует над уничтожающим тире. Вот это-то верхнее молчание и ободряло Кузенкова держать свою марку, хотя временами приходилось ему и показывать товарищам кое-какими внешними признаками, что он «свой» – ну, там, матюгаться в тесном кругу, ну, демонстрировать страсть к рыбалке, сдержанное почтение к генералиссимусу, то есть к нашей истории, интерес к «деревенской литературе», слегка деформировать в южную сторону звуки «г» и «в» и, конечно же, посещать... хм... гм... замнем для ясности, товарищи... ну, в общем, финскую баню. Тут следует заметить, что Марлен Михайлович ни на йоту не кривил душой, он был действительно своим в верховном учреждении, на все сто своим, а может быть, и больше чем на сто. Так, во всяком случае, предполагали психологи этажом выше, но им не дано было знать о некоторых «тайниках души» Марлена Михайловича, о которых он и сам хотел бы не знать, но откуда иногда выскакивали на поверхность, всегда неожиданно, тревожные пузыри, объясняемые им, заядлым материалистом-диалектиком, наличием присутствия малого тайничка в анкете. Об этом-то последнем Марлен Михайлович знал прекрасно, но молчал, ну хотя бы потому, что не спрашивали, и только лишь гадал: знают ли о нем те, кому все полагается знать. Так по необходимости, вихляясь и оговариваясь в короткой нашей презентации Марлена Михайловича Кузенкова, мы подходим наконец к упомянутому уже «любопытному эпизоду» на улицах Москвы.

Отыграв свою партию в теннис с генералом из штаба стратегической авиации, Марлен Михайлович Кузенков вышел на Пушкинскую улицу. Красавица его «Волга» была запаркована прямо под знаком «Остановка запрещена», но ведь любой мало-мальски грамотный милиционер, глянув на номер, тут же поймет, что эта машина неприкосновенна. Тем не менее как только он подошел к своей красавице – нравилась она ему почему-то больше всех «мерседесов», «поршей» и даже крымских «руссо-балтов», – как тут же с противоположной стороны к нему стал приближаться милиционер. Кузенков с улыбкой его ждал, уже представляя себе, как отвалится у нерасторопного служаки челюсть при виде его документов.

– Я извиняюсь, – сказал пацан лет двадцати с сержантскими погонами. – У вас литра три бензина не найдется? Мне только до отделения доехать.

– Пожалуйста, пожалуйста, – улыбнулся Марлен Михайлович. – Бак полный. Только уж вы сами берите, сержант, у меня и шланга-то нету.

Этот пустяковый вроде бы контакт с населением Москвы, точнее, с ярким его представителем в милицейской форме, доставил Марлену Михайловичу значительное удовольствие. Он представил себе, как вытянулись бы лица соседей по этажу, если бы они узнали в обыкновенном водителе, предоставлявшем свой бак какому-то сержантику, человека их «уровня». Эх, аппаратчики, аппаратчики, вот, может быть, главная наша беда – потеря связи с улицей. На это уже и Владимир Ильич нам указывал.

Сержант принес бачок и шланг с грушей специально для отсоса. Он копошился возле «Волги», но дело шло туго: то ли шланг был с дыркой, то ли сержант что-то делал не так, только бензин вытекал каплями, а временами и вовсе переставал появляться на поверхности.

– Ничего-ничего, – ободрил юного центуриона Марлен Михайлович. – Не спеши. Попробуй ртом.

Между тем мимо текла по тротуару толпа, и Кузенков, чтобы не терять времени, стал ее наблюдать. В поле его зрения попала странная парочка: шли две эпохи, одна из эпох вцепилась в другую. Бледный неопрятный старик в обвисшем пиджаке с орденскими планками волокся за длинноволосым джинсовым парнем. Правой рукой старик тащил авоську с убогими продуктами, левой с силой оттягивал назад джинсовый рукав.

– Сорок лет! – орал старик кривым ртом. – Сорок лет сражаюсь за социализм! За наши идеалы! Не позволю! Айда, пошли, пройдем!

– Отвали, отец, – пониженным голосом говорил длинноволосый. – Не базарь. Оставь меня в покое.

Он явно не хотел привлекать внимания прохожих и силой освобождать свой рукав. Он, видимо, чувствовал, что старик будет виснуть на нем и орать еще сильнее, если он применит сейчас молодую превосходящую силу, и вся ситуация тогда быстро покатится к катастрофе. С другой стороны, он, кажется, понимал, что и увещеваниями старика не проймешь и дело все равно принимает катастрофический уклон.

Короче говоря, этот типичный молодой москвич был растерян под напором типичного московского старика.

– Не оставляю в покое! – орал старик. – Никогда в покое врага не оставлял. Сейчас тебя научат, как агитировать! Пошли в опорный пункт! Давай пошли куда следует!

Задержать внимание московской толпы довольно сложно. Хмурые люди проходили мимо, как будто вовсе не замечая ни унижительной позиции молодого человека, ни рычащей атаки старика. Однако выкрики старого бойца становились все более интригующими, кое-кто оборачивался, даже задерживал шаги.

Кузенков тогда, не отдавая себе отчета и подчиняясь, видимо, какому-то сигналу из какого-то своего тайника, взошел на мостовую и остановил движение странной парочки.

– Что здесь происходит? – протокольным голосом обратился он к старику. – Вы почему мешаете гражданину прогуливаться?

Фраза получилась в зощенковских традициях, и он слегка улыбнулся. Старик опешил, запнулся на полуслове, увидев тяжелую машину, присевшего рядом с ней сержанта милиции, а главное, увидев прохладную усмешечку в глазах непростого товарища. Уловив эти приметы любимой власти, старик потерял на миг координацию и отпустил рукав подозрительного.

– Да вот, видите, ходит по гастроному и шипит, – вконец совладал с собой старик.

– Сами вы шипите, сами шипите, – бездарно оборонялась джинсовая эпоха.

– Почему же вы к нему пристааете? – строго, но патронально спросил Марлен Михайлович старика.

– Да вот шипит же, портфель носит, а шипит... мы в лаптях ходили... а он портфель носит... ходит с портфелем по гастроному и шипит... – бормотал старик.

– Не нужно приставать к гражданам, – тем же тоном сказал Марлен Михайлович.

– Товарищ, вы не оценили ситуацию! – отчаянно вскричал старик. – Ведь он же там высказывался, что в магазинах нет ничего!

Он весь трепетал, старый дурак в обвисшем пиджаке, под которым была заляпанная чем-то клетчатая рубашка навывпуск, в сандалиях на босу ногу. От него слегка пахло вином, но больше ацетоном и гнилью разваливающегося организма. Землистое с синевой лицо дрожало: придешь тут в отчаяние, если свои тебя не понимают.

– Так и говорил, враг, что в магазинах нет ничего. – Он повернулся, чтобы снова ухватить за рукав длинноволосого, в джинсах и с портфельчиком, врага, но того, оказывается, уже и след простыл. Марлен Михайлович, между прочим, тоже не заметил, как испарился смельчак-критикан.

– А что, разве в магазинах ВСЕ есть? – полюбопытствовал Марлен Михайлович.

– Все, что надо, есть! – вопил уже старик, оглядываясь, ища врага и как бы порываясь к преследованию, и опадал, видя, что уже не достигнешь, и поднимая к физиономии Кузенкова свою авоську, глядя уже на помешавшего справедливому делу человека с бурно нарастающим подозрением.

– Все, что надо простому народу, есть в магазинах. Вот вам макарончики, вона крупа, масла триста грамм, макарончики... Булки белые лежат! – взвизгнул он. – Это те, которые зажрались, те шипят! Мы работаем на них, жизнь кладем, а он всем недоволен!

– А вы всем довольны? – холодно осведомился Кузенков. Он сам себя своим тоном как бы убеждал, что в нем говорит социологический интерес, на самом-то деле и в нем что-то уже стало подрагивать: омерзение к агрессивной протоплазме стукача-добровольца.

– Я всем доволен! – Теперь уже дрожащие пальцы тянулись к кузенковскому твиду. – Я сорок лет сражался за правое дело! В лаптях... в лаптях... а они с портфелями...

– Идите своей дорогой, – сказал Марлен Михайлович. Он отвернулся от старика и возвратился к своей машине.

Сержант продолжал возиться со шлангом. Он, кажется, и головы не поднял, хотя не мог, конечно, не слышать скандального старика.

– Ну как? – деловым автомобильным голосом спросил Кузенков. – Тянет?

Сержант, видимо, тоже чувствовал некоторый идиотизм ситуации. Он брал шланг в рот, подсасывая бензин, отплевывался, наклонял шланг к бачку, но оттуда снова только лишь капало, не появлялась желанная струйка. Кузенков облокотился на багажник, стараясь отвлечься от исторической конфронтации к простому автомобильному делу. Тут он почувствовал, как ему в бок упирается мягкий живот старика.

– А вы не разобрались, товарищ, – теперь уже тихо заговорил старик, заглядывая в лицо Марлену Михайловичу. – Вы, вообще-то, кто будете?

В уголках рта у него запекшаяся слюнца, в углах глаз гноец. Прищур и трезвая теперь интонация показали Марлену Михайловичу, что перед ним, должно быть, не простой московский дурак, а кто-то из сталинских соколов, человечек из внутренней службы, по крайней мере, бывший вохра.

– Послушайте, – сказал он с брезгливой жалостью. – Что вы уговориться-то не можете? Вы всем довольны, а тот парень не всем. Люди-то разные бывают, как считаете?

– Так. Так. – Старик внимательно слушал Кузенкова и внимательнейшим образом его оглядывал. – Люди, конечно, разные, разные... А вы, товарищ, кто будете? Сержант, этот товарищ откуда?

Нахлебавшийся уже изрядно бензину милицейский, не поднимая головы, рывкнул на старика:

– Выпили? Проходите!

Старик чуть вздрогнул от этого рыка и, как видно, слегка засомневался, ибо власть, как всегда, была права – выпил он, а раз выпил, положено проходить. Тем не менее он не прошел, а продолжал смотреть на Кузенкова. Конечно, английское происхождение кузенковских одежд было старику неведомо, но взгляд его явно говорил о направлении мысли: кто же этот человек, отнявший у меня врага? свой ли? ой, что-то в нем не свое, дорогие товарищи! А уж не враг ли? А уж не группа ли тут?

Марлену Михайловичу взгляд этот был предельно ясен, и в тайниках его происходил процесс ярости, как вдруг откуда-то из самых уж отдаленных глубин какой-то самый тайный уже тайник выплеснул фонтанчик страха.

Руки старика потянулись к его груди, слюнявые губы зашевелились в едва ли не бредовом лепете:

– Конечно, выпил... значит, ваше преимущество... а я сорок лет сражался... в лаптях... с портфелями... продовольственные трудности... полмира кормим... братским классам и нациям... документик покажите... вы кто такой... меня тут знают, а вы... сержант, а ну...

Марлен Михайлович разозлился на себя за этот страх. Да неужели даже и сейчас, даже и на такой должности не выдавить из себя раба? Как легко можно было бы весь этот бред оборвать – отшвырнуть сталинскую вонючку (так и подумал – «сталинскую вонючку»), сесть в мощный автомобиль и уехать, но этот сержант дурацкий, со своим дурацким шлангом; конечно же, чего мне-то бояться, ну потеряю полчаса на объяснение в соседнем отделении милиции, звонок Щелокову – и все в обмороке, но в то же время, конечно же, совсем ненужный получится дурацкий, нелепый скандал, и не исключено, что дойдет до верхнего этажа, к этим маразматикам сейчас прислушиваются, кое-кто даже считает их опорой общества (печальна судьба общества с такой опорой), ну, словом... Как же от него избавиться, еще секунда – и он вцепится в пиджак, забьется в припадке, и тогда уж вся улица сбежится, припадочных у нас любят...

Тут налетела на старика расхристанная бабенка лет сорока, титьки вываливаются из черной драной маечки с заграничной надписью GRAND PRIX.

– Дядя Коля, айдате отседа! Дядя Коля, ты что? Пошли, пошли! Смотри, сейчас бабка прибежит! Тебя уж час по дворам ищут!

Старик вырывался и хрипел, махал авоськой на Кузенкова. Из ячеек сыпались и ломались длинные макароны.

– Этот! – кричал старик. – Документы показывать не хочет! Сержант служебных обязанностей не выполняет! На помощь, товарищи!

– Дядя Коля, пошли отседа! Номер запомни, бумагу напишешь!

Бабешка запихивала в майку вылезающие груди, подхватывала слетающие с ног шлепанцы – видимо, выскочила из дома в чем была, – но умудрялась притом подмигивать Марлену Михайловичу да еще как-то причмокивать косым хмельным ртом.

Упоминание о бумаге, которую он напишет, подействовало: старик дал себя увести, правда все время оборачивался и высказывался, все более угрожающе и все менее разборчиво по мере удаления.

– Ну что у вас тут, сержант? – Марлен Михайлович раздраженно заглянул в бачок, там еле-еле что-то полоскалось на доньшке. Приятный и познавательный контакт с уличной жизнью обернулся тягостным идиотизмом. Кузенкова больше всего злило промелькнувшее, казалось бы забытое уже, чувство страха. Да неужели же до сих пор оно живет во мне? Пакость!

Он вырвал из рук сержанта шланг, осмотрел его: так и есть – дыра. Чертыхнулся, полез в собственный багажник, вытащил оттуда какую-то трубку, засунул один конец в бак, другой в рот, потянул в себя и захлебнулся в бензине, зато возникла устойчивая струйка, и очень быстро сержант приобрел для своего кургузого «москвичонка» нужное количество.

– Плата за невмешательство. Отмена нефтяного эмбарго, – усмехнулся Марлен Михайлович.

Сержант поглядывал на него как-то странно, может быть, тоже не понимал, что перед ним за птица. Во всяком случае, в благодарностях не рассыпался.

Кузенков сел уже за руль, когда в зеркале заднего вида снова увидел дядю Колю. Тот торопился на поле идейной битвы, тяжелый его пиджачище запарусил, рубашка расстегнулась, виден был тестообразный живот. Авоську старик, видимо, оставил дома, но вместо нее у него в руке была какая-то красная книжечка размером в партбилет, которую он то и дело поднимал над головой, будто сигналил. Марлену Михайловичу оставалось сделать несколько движений для того, чтобы отчалить и прекратить бессмысленную историю: нужно было отжать сцепление, поставить кулису на нейтраль, включить первую скорость и левую мигалку. Если бы он сделал все чуть быстрее, чем обычно, то как раз бы и успел, но ему показалось, что всякое

ускорение будет напоминать бегство, и потому он даже замедлил свои движения, что позволило дяде Коле добежать, влезть всей харей в окно и протянуть книжицу.

– Вот мой документ! Читайте! И свой предъявляйте! Немедленно!

– Стукач, – сказал вдруг Марлен Михайлович и сильной своей ладонью вывел мокрое лицо старика за пределы машины. – Не смей больше трогать людей, грязный стукач.

С этими словами он поехал. Старик вдогонку залаял матом. В боковом зеркальце мелькнуло хмурое лицо сержанта. Машина мощно вынесла Марлена Михайловича на середину улицы, но тут загорелся впереди красный свет. Стоя у светофора, Кузенков еще видел в зеркале в полусотне метров сзади и старика, и сержанта. Дядя Коля размахивал красной книжкой, тыкал рукой вслед ушедшей машине, апеллировал к милиции. Сержант с бачком в одной руке другой взял старика за плечо, тряхнул и показал подбородком на свою машину – ну-ка, мол, садись. Тут старик упал на мостовую. Последнее, что видел Кузенков, – дергающиеся ноги в голубых тренировочных шароварах. Зажегся зеленый.

Приехав домой, Марлен Михайлович немедленно отправился в ванную мыть руки. На левой ладони, казалось ему, еще осталась липкая влага старика. Подумав, стал раздеваться: необходим душ. Раздеваясь, он рассматривал себя в зеркало. Седоватый, загорелый, полный сил мужчина. «Не пристало так отпускать тормоза, Марлен, – сказал он себе. – Не дело, не дело. Вели себя не в соответствии со своим положением, да что там положение, не в соответствии со своим долгом, с ответственностью перед, нечего пугаться слов, перед историей. Вели себя, – вдруг пронзила его тревожная мысль, – вели себя как диссидент. Вели себя как диссидент и чувствовали как диссидент, нет, это совершенно непозволительно».

Он поставил тут себя на место старого болвана-вохровца, вообразил, как вдруг рушится перед ним выстроенный скудным умом логический мир; сержант, черная «Волга», прищуренный глаз, как символы мощи и власти, которую он стерег, как пес, всю свою жизнь, вдруг оборачиваются против него, какая катастрофа. Нет, нет, отшвыривание, низвержение этих стариков, а имя им легион, было бы трагической ошибкой для государства, зачеркиванием целого периода истории. Негосударственно, неисторично.

Он думал весь остаток дня об этом «любопытном эпизоде» (именно так он решил обозначить его своей жене, когда придет время пошутушиться, – «любопытный эпизод»). Думал об этом и за письменным столом во время чтения крымских газет. Нужно было подготовить небольшой обзор текущих событий на Острове для одного из членов Политбюро. Такие обзоры были коньком Марлена Михайловича, он относился к ним с большой ответственностью и увлечением, но сейчас проклятый «любопытный эпизод» мешал сосредоточиться, он мечтал, чтобы вечер скорее прошел, чтобы они наконец остались вдвоем с женой, чтобы можно было поделиться с ней своими ощущениями.

Лицо Тани Луниной, появившееся на экране телевизора, отвлекло его, пришли в голову мысли об Андрее Лучникове, о всем комплексе проблем, связанных с ним, но тут по ассоциативному ряду Марлен Михайлович добрался до режиссера Виталия Гангута, московского друга курируемой персоны, и подумал, что вот Гангут-то был бы нормален в дурацкой склоке на Пушкинской улице. Он подставлял на свое место Гангута, и получалось нормально, естественно. Он возвращал себя на свое место, и получалось все неестественно, то есть, по определению Николая Гавриловича, безобразно.

Как всегда на ночь глядя и как всегда ни с того ни с сего позвонил старший сын от первого брака Дмитрий. Этот двадцатипятилетний парень был, что называется, «отрезанный ломоть», солист полуподпольной джаз-рок-группы C₂H₅OH. Дмитрий носил фамилию матери и требовал, чтобы его называли всегда концертным именем – Дим Шебеко. Он считал политику дристей, но, конечно же, был полнейшим диссидентом, если подразумевать под этим словом инакомыслие. Марлену Михайловичу иногда казалось, что Дим Шебеко стыдится родства с таким шишкой, как он, и утаивает это от своих «френдов». Впрочем, и у Марлена Михайловича было

мало оснований гордиться таким сыночком перед товарищами по «этажу». Их отношения всю жизнь были изломанными, окрашенными не утихающей с годами яростью брошенной жены, то есть матери Дима Шебеко. В последнее время, правда, музыкант весьма как-то огрубел, отделил себя от обожаемой мамы, шлялся по столице с великолепной наплевательской улыбкой на наглой красивой физиономии, а с отцом установил естественные, то есть потребительские, отношения: то денег попросит, то бутылку хорошей «негородской» водки из пайка. В этот раз он интересовался, когда приедет крымский кореш Андрей, ибо тот обещал ему в следующий приезд привезти последние пластинки Джона Кламмера и Китса Джеррета, а также группу «Секс пистолс», которая, по мнению Дима Шебеко, мало перспективна, как и вся культура «панк», но тем не менее нуждается в изучении.

Поговорив с сыном, Марлен Михайлович снова вернулся к «любопытному эпизоду», подумал о том, что на месте того длинноволосого мог бы свободно оказаться и Дим Шебеко. Впрочем, у Дима Шебеко такая рожа, что даже бдительный дядя Коля побоялся бы подступиться. «Давить таких надо, дад, – сказал бы Дим Шебеко. – Я на твоём месте задавил бы старую жабу».

В конце концов Марлен Михайлович отодвинулся от пишущей машинки и стал тупо ждать, когда закончится проклятая «Гвоздика». Телевизионные страсти отпыхали только в начале двенадцатого. Он слышал, как Вера Павловна провожала в спальню детей, и ждал желанного мига встречи с женой. У них уже приближался серебряный юбилей, но чувства отнюдь не остыли. Напротив, едва ли не каждый вечер, несмотря на усталость, Марлен Михайлович сладостно предвкушал встречу с мягким нежнейшим телом вечно благоухающей Веры Павловны.

– Что это, лапик, Дим Шебеко звонил? – спросила жена, отдышавшись после встречи.

Голова Марлена Михайловича лежала на верном ее плече. Вот мир и милый и мирный, понятный в каждом квадратном сантиметре кожи, – мир его жены, пригожие холмы и долины. Так бы и жил в нем, так бы и не выходил никогда в смутные пространства внешней политики.

– Знаешь, моя кисонька, сегодня со мной в городе случился любопытный эпизод, – еле слышно прошептал он, и она, поняв, что речь идет о важном, не повторила своего вопроса о звонке, а приготовилась слушать.

– Что ж, Марлен, – сказала она, когда рассказ, вернее, весьма обстоятельный разбор кузенковских ощущений, цепляющихся за внешнюю пустяковость событий, был закончен. – Вот что я думаю, Марлен. А... – Она загнула мизинец левой руки, и ему, как всегда, показалось, что это не мизинец левой руки, но вот именно весьма серьезный А, за которым последуют Б, В, Г... родные, конкретные и умные. – А – тебе не нужно было влезать в эту потасовку, то есть не следовало обращать на нее внимания. Б – раз уж ты обратил на это внимание, то тебе следовало вступить, и ты правильно сделал, что вступился. В – вступившись, лапик, ты вел себя идеально как человек с высоким нравственным потенциалом, и вопрос только в том, правильно ли ты закончил этот любопытный эпизод, то есть нужно ли было называть старика грязным стукачом. И наконец, Г – темный страх, который ты испытал под взглядом дяди Коли, вот что мне представляется самым существенным, ведь мы-то знаем с тобой, Марлуша, какой прозрачный этот страх и где его корни. Если хочешь, мне вся эта история представляется как бурный подсознательный твой протест против живущего в тебе и во мне, да и во всем нашем поколении страха. Ну а если это так, тогда все объяснимо и естествен-но, ты меня понимаешь? Что касается возможного доноса со стороны припадочного старика, то это...

Вера Павловна отмахнула пятый пункт своих размышлений всей кистью руки, легко и небрежно, как бы не желая для такой чепухи и пальчики загигать. «Какая глубина, какая точность, – думал Марлен Михайлович, с благодарностью поглаживая женино плечо, – как она меня понимает! Какая стройная логика, какой нравственный потенциал!»

Вера Павловна была лектором университета, заместителем секретаря факультетского партбюро, членом правления Общества культурных связей СССР – Восточное Средиземноморье, и действительно ей нельзя было отказать в только что перечисленных ее мужем качествах.

Облегченно и тихо они обнялись и заснули как единое целое, представляя собой не столь уж частое нынче под луной зрелище супружеского согласия. Рано утром их разбудил звонок из Парижа. Это был Андрей Лучников.

– У меня кончилась виза, Марлен. Не можешь ли позвонить в посольство? Необходимо быть в Москве.

V. Проклятые иностранцы

«Каменный век, – подумал Лучников, – столицу космической России нужно заказывать заранее через операторов. Так мы звонили в Европу в пятидесятые годы. А из Москвы позвонить, скажем, в Рязанскую область еще труднее, чем в Париж. Так мы вообще никогда не звонили...»

Лучников подошел к окну. За окнами гостиницы на бульваре Распай стоял редкий час тишины. На тротуарах меж деревьев боком к боку, так что и не просунешься, стояли автомобили. По оставшейся асфальтовой тропинке ходил печальный марокканец с метлой. Небо розовело. Через час начнется движение. Лучников закрыл противошумные ставни, прыгнул в постель и тут же заснул. Он проснулся через три часа, ровно в семь. Впереди был напряженный день, но в запасе оставалось три часа, когда не надо было спешить. Приезжаешь в Париж и никуда не торопишься. Это наслаждение.

Ленивая йога. Душ. Бритье. Завтракать пойду на Монпарнас, в «Дом», там все осталось как прежде, те же посетители, как всегда: старик с «Фигаро», старик с «Таймс», старик с «Месседжеро», все трое курят сигары, одинокая, очень пожилая дама, чистенькая, как фарфор, затем – кто еще? – ах да, блондин с брюнеткой, или брюнет с блондинкой, или блондин с блондином, брюнет с брюнетом – у этих цветовые комбинации реже, чем у разнополых пар, безусловно, сидит там и молодая американская семья, причем мама на стуле бочком, потому что младенец приторочен к спине. Все эти лица и группы лиц расположились на большой веранде «Дома» с полным уважением к человеческой личности и занимаемому ею пространству, храня, стало быть, и за завтраком первейшую заповедь европейского Ренессанса. Два внушительных нестареющих и немолодеющих «домских» официанта в длинных белых фартуках разносят кофе, сливки и круассаны. Рядом с верандой продавец фрюи де мер раскладывает на прилавке свои устрицы. Изредка, то есть почти ежедневно, на веранде появляется какой-нибудь приезжий из какого-нибудь отеля поблизости, какой-нибудь молодой джентльмен средних лет, делающий вид, что он никуда не спешит. В руках у него всегда газеты. Вот в этом и состояла прелесть парижских завтраков – все как обычно в Париже.

В киоске на углу Монпарнаса и Распая Лучников купил «Геральд трибюн» и двуязычное издание своего «Курьера». Сделав первый глоток кофе, он на секунду вообразил напротив за столиком Татьяну Лунину. Улыбнувшись воображению и этим как бы отдав долг своей так называемой «личной жизни», он взялся за газеты. Сначала «Курьер». Сводка погоды в подножии первой полосы, Симфи +25 °С, Париж и Лондон – +29 °С, Нью-Йорк – +33 °С, Москва +9 °С... Опять Москва – полюс холода из всех столиц. Экое свинство, даже климат становится все хуже. Несколько лет подряд антициклоны обходят стороной Россию, где и так всего не хватает, ни радостей, ни продуктов, и стойко висят над зажавшейся Европой, обеспечивая ей дополнительный комфорт. Главная шапка «Курьера» – запуск на орбиту советского космического корабля, один из двух космонавтов – поляк, или, как они говорят, гражданин Польской Народной Республики. Большие скуластые лица в шлемофонах, щеки раздвинуты дежурными улыбками. На этой же полосе внизу среди прочего очередное заявление академика Сахарова и маленький портрет. Ну разве это не справедливо, господа? В советском корабле впервые поляк на орбите, а господин Сахаров при всем нашем к нему уважении делает отнюдь не первый стейтмент. В «Геральде» все наоборот: большой портрет Сахарова и заявление наверху, сообщение о запуске на дне, лики космонавтов, как две стертых копейки. Так или иначе, деморализованная и разложившаяся Россия опять дает заголовки мировым газетам. Кто же настоящие герои современной России, кто храбрее – космонавты или диссиденты? Вопрос детский, но дающий повод к основательным размышлениям.

На солнечной стороне Монпарнаса Лучников заметил сухопарую фигуру полковника Чернока. Смешно, но он был одет в почти такой же, оливкового цвета костюм, как и у Лучникова. Почти такая же голубая рубашка. Смешно, но он остановился на углу и купил «Курьер» и «Геральд». Правда, подцепил еще пальцем июльский выпуск «Плейбоя». Зашел в «Ротонду» и попросил завтрак, не забыв, однако, и о рюмочке «Мартеля». Кажется, он тоже заметил друга через улицу, сидящего, словно в витрине, на террасе «Дома». Заметил, но, так же как и Лучников, не подал виду. Через час у них было назначено свидание в двух шагах отсюда, в «Селекте», но этот час был в распоряжении Чернока, и он мог чуть-чуть похитрить сам с собой, развалившись на солнышке, листать газеты, прихлебывать кофе, как будто ему, как и Лучникову, вроде бы предстоит праздный день.

Итак, поехали дальше. Политические новости Крыма. Фракция яки-националистов во Временной Государственной Думе вновь яростно атаковала врэвакуантов и потребовала немедленного выделения Острова в отдельное государство со всеми надлежащими институтами. Решительный отпор СВРП, коммунистов, с-д, к-д, трудовиков, друзей ислама. У всех свои соображения, но парадокс в том, что вся эта гиньольная компания с их бредовыми или худосочными идейками ближе сейчас нам, чем симпатичные ребята из «я-н». Увы, напористые, полные жизни представители новой островной нации, о возникновении которой они кричат на всех углах, сейчас опаснее любых монархистов и старорусских либералов для Идеи Общей Судьбы. Не говоря уже о коммисах по всему их спектру, о них и говорить нет смысла. Московские коммисы повторяют за Москвой, пекинские за Пекином, еврокоммисы сидят в университетских кабинетах, пока их ученики-герильеры шуруют по принципу еще 1905 года: «Хлеб съедем, а булочные сожжем!» Эта идея неизлечима, дряхла, тлетворна. Быть может, главным и единственным ее достижением будет тот здоровый росток, который возникает сейчас в самой Москве, то начало, к которому и тянется ИОС. Андрей Арсеньевич Лучников довольно часто за утренним кофе казался сам себе здоровым, умным, деятельным и непредубежденным аналитиком не только нации, но и вообще человеческого рода.

Последний глоток кофе. Рука уже тянется к карману за вчерашними «мессажами». По осевой полосе Монпарнаса к бульвару Сен-Мишель несется, яростно сигналив, наряд полицейских машин. Девять часов сорок минут. Начинается новый сумасшедший парижский день редактора одной из самых противоречивых газет нашего времени, симферопольского «Русского Курьера».

Записки в основном подтверждали назначенные уже ранее апойтменты, хотя одно послание было совершенно неожиданным. Вчера в обеденный час в отель позвонил мистер Джей Пи Хэлоуэй, компания «Парамаунт», и попросил мосье Лютшниккофф связаться с ним по такому-то телефону. Позднее, то есть в послеобеденное время, мистер Хэлоуэй, то есть старый подонок, друг юности Октопус, лично заехал в гостиницу, то есть уже вдребадан, и оставил записку: «Андрей Лучников, вам лучше сложить оружие. Капитуляция завтра в час дня, брасери „Липп“, Сен-Жермен-де-Пре. Октопус». Ничего не поделаешь, придется обедать с американскими киношниками, не выбросишь ведь старого Октопуса на помойку, столько лет не виделись – три, пять? Итак, давайте распределимся. Через пятнадцать минут свидание с Черноком. В одиннадцать часов ЮНЕСКО, Петя Сабашников. К часу едем вместе на Сен-Жермен-де-Пре. После обеда надо позвонить в советское посольство, узнать о продлении «визы многократного использования». В пять часов вечера с Сабашниковым – к фон Витте. В шесть тридцать интервью в студии Эй-би-си. Затем прием ПЕН-клуба в честь диссидента Х. Допустимое опоздание полчаса. Укладываюсь. Вечер, надеюсь, будет свободен. Проведу его в одиночестве. Неужели это возможно? Пойду в кино на Бертолуччи. Или в тот джазовый кабачок в Картье Латэн. На ночь почитаю Платона. Не выпью ни капли. Впрочем, не пойду ни в кино, ни в кабачок, а сразу лягу с Платоном... то место о тирании и свободе, прочту его заново...

Андрей Лучников положил на стол деньги, забрал свои газеты и вышел из кафе. То же самое проделал на другой стороне улицы полковник Чернок, командующий Северным укрепрайоном Острова Крым. Они двинулись в сторону «Селекта», почти зеркально отражая друг друга.

Они были действительно похожи, одногодки из одной замкнутой элиты врэвакуантов, один пошире в кости, другой постройнее, один военный летчик, другой писака и политик.

– Ты мешал мне читать газеты в своей «Ротонде», – сказал Лучников.

– А ты мне не давал пить кофе в своем «Доме», – сказал Чернок.

– «Дом» лучше, – сказал Лучников.

– А у меня костюм лучше, – сказал Чернок.

– Убил, – сказал Лучников.

– Не лезь, – сказал Чернок.

За диалогом этим, естественно, стояла Третья симферопольская мужская гимназия имени императора Александра Второго Освободителя. Им принесли пива.

– Читал последние новости из Симфи? – спросил Лучников.

– Яки?

– Да. По последнему «поллу» их популярность поднялась на три пункта. Сейчас она еще выше. Идея новой нации заразительна, как открытие Нового Света. Мой Антошка за один день на Острове стал яки-националистом. Зимой – выборы в Думу. Если мы сейчас не начнем предвыборную борьбу, России нам не видать никогда.

– Согласен. – Полковник был немногословен.

Они стали обсуждать план быстрого создания массовой партии. Сторонников Общей Судьбы на Острове множество во всех слоях населения. К исторически близкому воссоединению с великой родиной призывают десятки газет во главе с могущественным «Курьером». Нет сомнения, что когда возникнет СОС – вот такая предлагается аббревиатура, Союз Общей Судьбы, звучит магнитно, ей-ей, в этом слове уже залог успеха, – итак, когда возникнет СОС, другие партии поредеют. Нужно как можно скорее объявлять новую партию, и делать это с открытым забралом. Да какая уж там секретность! Если даже муллы за автономию в границах СССР, секретность – вздор. Военным разрешено будет примыкать к СОС? Прости, но в этом случае мы не можем считать СОС политической партией. Что ж, можно и не считать его политической партией, но в выборах участвовать. Прости, нет ли в этом демагогии? Пожалуй, в этом есть демагогия именно в советском духе или в стиле наших мастодонтов: мы за разрядку, но при нарастании идейной борьбы; мы не государство, но самостоятельны; мы не партия, но в выборах участвуем... Нет, демагогия нам не годится. Наша хитрость – отсутствие хитрости. Мы... Кто это все-таки мы? Старина, это пустой вопрос. Сейчас речь идет о спасении, и не о спасении Крыма, как ты понимаешь... Чтобы участвовать в кровообращении России, надо стать ее частью. Ну хорошо, давай о практическом.

Они еще некоторое время говорили о практическом, а потом замолчали, потому что за стеклом террасы остановились две девки.

Две монпарнаские халды, в снобских линиях туниках, с нечесаными волосами, с диковатым гримом на лицах. Пожалуй, даже хорошенькие, если отмыть. Чернок и Лучников посмотрели друг на друга и усмехнулись. Девчонки прижались к стеклу в вопросительных извивах – ну как, мол, поладим? Лучников показал на часы – увы, дескать, времени нет, ужасно, мол, жаль, мадемуазель, но мы не принадлежим себе, такова жизнь. Девчонки тогда засмеялись, послали воздушные поцелуи и бодренько куда-то зашагали. У одной из них был скрипичный футляр под мышкой.

– Вчера я познакомился с прелестной женщиной, – мягко заговорил Чернок. Он почему-то культивировал мягчайший старомодный стиль в обращении с женщинами, что, впрочем, не мешало ему распутничать напропалую. – Она была восхищена тем, что я русский, – ом совэ-

тик! – и ужасно разочарована, когда узнала, что я из Крыма. «Значит, вы, мосье, не русский, а крымчен?» Мне пришлось долго убеждать ее, что я не сливочный. Многие уже забыли, что Крым – часть России...

– Что твои «миражи»? – спросил Лучников.

Полковник сидел в Париже уже целый месяц, ведя переговоры о поставках модели знаменитого истребителя-бомбардировщика для крымских «форсиз».

– На днях подпишем контракт. Они продают нам полсотни штук. – Чернок рассмеялся. – Полный вздор! К чему нам «миражи»? Во-первых, наши «сикоры» ничуть не хуже, а потом пора уже переучиваться на МиГи... – Он вдруг заглянул Лучникову в глаза. – Мне иногда бывает интересно, нужны ли им такие летчики, как я.

Лучников раздраженно отвел глаза.

– Ты же знаешь, Саша, какой там мрак и туман, – заговорил он через минуту. – Иногда мне кажется, что ОНИ ТАМ сами не знают, чего хотят. НАМ важно знать, чего МЫ хотим. Я хочу быть русским, и я готов даже к тому, что нас депортируют в Сибирь...

– Конечно, – сказал Чернок. – Обратного хода нет.

Лучников посмотрел на часы. Пора было уже рулить к Пляс де Фонтенуа.

– Задержись на три минуты, Андрей, – вдруг сказал Чернок каким-то новым тоном. – Есть еще один вопрос к тебе.

Бульвар Монпарнас чуть-чуть поплыл в глазах Лучникова, слегка зарябил, запестрел длинными, словно струи дождя, прорехами: что-то особенное было в голосе Чернока, что-то касающееся лично Лучникова, а такой прицел событий лично на него, вне «Движения», стал в последнее время слегка заклинивать Лучникова в его пазах, в которых еще недавно катался он столь гладко.

– Послушай, Андрей, одно твое слово, и я перемену тему... так вот, не кажется ли тебе... – мягко, словно с больным или с женщиной, говорил полковник и вдруг закончил, будто очертя голову: – Что ты нуждаешься в охране?

«Вот он о чем, – подумал Лучников. – О покушении. Вернее, об угрозе покушения. Вернее, о намеках на угрозу покушения. Странно, что я совсем забыл об этом. Должно быть, Танька вымела эту пакость из моей головы. Как это постыдно – быть обреченным, вызывать в людях осторожную жалость. Впрочем, Чернок ведь солдат, он дрался под Синопом, а каждый солдат всегда основательно обречен...»

– Понимаешь ли, – продолжал после некоторой паузы Чернок, – в моем распоряжении есть специальная команда... Они будут деликатно за тобой присматривать, и ты будешь в полной безопасности. Какого черта давать «Волчьей сотне» право на отстрел лучших людей Острова? Ну что ты молчишь? Не ставь меня в идиотское положение!

Лучников сжал кулак и слегка постучал им по челюсти Чернока.

– Снимаем тему, Саша.

– Сняли, – тут же сказал тогда полковник и поднялся.

На этом их встреча закончилась. Через десять минут Лучников уже продирался на арендованном «рено-сэнк» сквозь автомобильные заграды Парижа. При пересечении Сен-Жермен, на Курфюр де Бак, машины еле ползли, и там он смог даже немного помечтать, вернее, погрузиться в воспоминания. Кажется, три года назад он прилетел в Париж на свидание с Таней и снял вот в этом отеле «Пон-Рояль» комнату. Она была тогда в Париже со своей командой на каком-то коммунистическом спортивном празднике – то ли день «Юманите», то ли кросс «Юманите», – и у них оказалось всего два часа для уединения. Вот здесь, на третьем этаже, Таня осыпала его московскими нежностями. «Лапа моя, – говорила она, – прилетел в такую даль ради одного пистончика, лапуля моя». А он был готов ради этого «пистончика» пять раз обернуться вокруг земного шара. Блаженные мысли, ночные воспоминания вновь начисто выветрили из головы покушение. Он уже и прежде замечал, что, начиная думать о Таньке (они

там, в Москве, всю жизнь зовут друг друга Танька, Ванька, Юрка), он сразу забывает всякие пакости. В конце концов, хотя бы для хорошего настроения... В престраннейшем хорошем настроении он выкатился наконец из теснины рю де Бак на набережную и покатил нижней дорогой к Инвалидам. Правый берег Сены был залит солнцем.

И вот мы в атмосфере Юнайтед-Нэйшн-Эджукэйшн-Сайенс-Калча-Организейшн. Конечно же, повсюду звучит музыка, чтобы человек не скучал. Должно быть, главная цель могучей организации международных дармоедов – не дать человеку скучать ни минуты.

В овальном зале изысканнейшего дизайна, с подшагаловскими, а может быть, и самошагаловскими росписями идет заседание какого-то подкомитета или полукомиссии по вопросам мировой статистики.

Лучникову повезло, он угодил прямо на спектакль, который почти ежедневно разыгрывал в ЮНЕСКО крымский представитель Петр Сабашников, тоже одноклассник и старый друг. Крым, естественно, не был членом ООН – СССР никогда не допустил бы такого «кошунства», но в органах ЮНЕСКО активно участвовал, ибо нельзя было себе и представить какую-либо серьезную международную активность без этого активнейшего Острова. Под давлением Советского Союза никто в мире не смел называть Остров тем именем, которое он сам себе присвоил, именем «Крым – Россия», ни одна организация, ни одна страна не решались противостоять гиганту, за исключением совсем уж отпетых, всяких там Чили, ЮАР, Израиля и почему-то Габона. В документах ЮНЕСКО употреблялось обозначение «Остров Крым», но Петр Сабашников на все заседания являлся со своей табличкой «Крым – Россия» и перво-наперво заменял ею унизительную географию капитулянтов. После заседания он всегда уносил эту табличку с собой, чтобы не выбросили.

– Слово имеет представитель Острова Крым господин Сабашников, – сказал председатель полукомиссии или четверть-комитета, когда Андрей Лучников вошел в совершенно пустую ложу прессы.

По проходу к подиуму уже неторопливо шествовал с кожаной папочкой под мышкой Петя Сабашников. Все делегаты с большим вниманием следили за каждой фазой его движения, а на лицах новичков, то есть представителей молодых наций, было написано изумление. Казалось бы, что особенного – идет по проходу очередной оратор? Петя Сабашников, однако, даже из этого простого движения делал великолепный фарс. Сложив бантиком губки, но в то же время строго нахмутив бровки, выставив подбородок с претензией на несокрушимость, но в то же время развесив пухлые щеки, господин Сабашников изображал то ли советского министра Громыко, то ли московского артиста Табакова. Лучников беззвучно хохотал в ладонь. Петя не изменился: погибший в нем актер ежеминутно разыгрывает все новые и новые этюды.

Вот он на трибуне. Каскад сногсшибательной мимики. Ярчайшая улыбка (президент Картер) фиксируется чуть ли не на целую минуту. Затем из кармана с кеханьем, чмоканьем, прочисткой горла и полости рта (генсек Брежнев) извлекаются очки. Легкий поворотец, псевдомечтательный взлядец в сторону, и с «очаговательной кагтавостью» премьера Временного правительства в Крыму Кублицкого-Пиоттуха мосье Сабашников начинает свой спич:

– Господин председатель! Дамы и господа! Дорогие товарищи! Прежде чем приступить к сути дела, я должен внести поправку в протокол ведения нашего собрания. Давая мне слово, уважаемый господин председатель допустил ошибку, назвав меня представителем Острова Крым, между тем как я являюсь представителем организации, официально именующей себя «Крым – Россия». Я просил бы господина председателя и всех господ делегатов принять это во внимание и сделать все для того, чтобы вышеупомянутая ошибка не повторилась.

Лучников после этого заявления разыскал глазами стол советской делегации. Там происходило движение. Весьма гладкий господин – у «советчиков» сейчас более буржуазный вид, чем у «капи», – встал и сделал знак секретарю заседания. Тот привычно кивнул. Все шло как обычно: после всякого выступления представителя «Крыма – России» Советский Союз тут же

делал формальный протест. Все к этому привыкли и относились едва ли не как к формальности юнесковского протокола. Петр же Сабашников, закончив свою традиционную преамбулу, иронически поклонился залу с явным все-таки уклоном к советской делегации, давая понять, что уж кто-кто, но он, П. Сабашников, меньше всего придает значения всему этому вздору: как своему осуществленному уже протесту, так и их, ожидаемому.

– Господа, – перешел теперь Сабашников к существу дела, – в условиях деморализации современного общества статистика подверглась коррозии не менее сильной, а может быть, и более сильной, чем другие социологические дисциплины. Наш долг как участников самой гуманистической дивизии международного синклита наций, – Лучников видел, что Сабашников едва удерживается или делает вид, что едва удерживается от хохота, – наш долг способствовать возрождению доброго имени этой науки как невозмутимого барометра здоровья планеты. Увы, господа, как представитель организации «Крым – Россия», то есть как сын нашего противоречивого времени, я подолью лишь масла в огонь. Я знаю, что я это сделаю, но я не могу этого не сделать. Итак, я держу в своих руках один из недавних номеров журнала «Тайм». В нем опубликована пространнейшая статистическая карта мира, составленная, как сообщает журнал, по данным различных общественных институтов, включая и ЮНЕСКО. Разумеется, я ценю журнал «Тайм» как один из форумов независимой американской прессы, и это дает мне, как я полагаю, право подвергнуть критике некоторые проявления предвзятости в вышеупомянутой статистической карте. Во-первых, что это за уровни свободы, выраженные в процентах? Где обнаружил «Тайм» точку отсчета и по какому праву он переводит священное философское понятие на язык цифр? Во-вторых, я должен указать на неточность всех цифровых данных, касающихся России. Организация «Крым – Россия», разумеется, весьма польщена тем, что «Тайм» выделил нам полную сотню процентов свободы, и в равной степени огорчена тем, что щедротами «Тайма» Советский Союз наделен лишь восемью процентами оной, однако мы в который уже раз заявляем, что все статистические данные «Крыма – России» и Советского Союза должны плюсоваться и делиться на общее количество нашего населения. Вот вам другой пример. В Советском Союзе, по данным «Тайма», приходится восемнадцать с половиной легковых автомобилей на тысячу населения. В нашей организации, которую журнал не удосуживается назвать даже географическим понятием, а именует словечком туристического жаргона «о'кей», оказывается шестьсот пять целых восемь десятых автомобиля на тысячу населения. Господа, если вы в статистических исследованиях используете понятие «Россия», извольте плюсовать данные Советского Союза и организации «Крым – Россия». При этом единственно правильном методе, господа, вы увидите, что Россия на текущий момент истории располагает двадцатью пятью целыми тремя десятками автомобилей на тысячу населения и шестнадцатью процентами свободы по шкале журнала «Тайм». Вот все, что я хотел отметить на текущий момент дискуссии. Надеюсь, что не злоупотребил вашим вниманием. Спасибо.

Сабашников, сама скромность, собрал кое-какие бумажки в папочку и, чуть подхихикивая с неслыханной фальшью, пошел по проходу к своему столу. По дороге он успел сделать пальчиком Лучникову в ложу прессы – дескать, заметил – и бровкой к выходу – выходи, мол, – а также невероятно пластично всем телом выразить полнейшее уважение советскому коллеге, который уже неся по проходу грудью вперед «давать отпор фиглярствующим провокаторам из каких-то никому не ведомых дурно пахнущих организаций, вопреки воле народов представленных на международном форуме наций».

Перед тем как выйти из ложи прессы, Лучников обнаружил, что он замечен советской и американской делегациями. Типусы за этими столами смотрели на него и перешептывались – редактор «Курьера»!

Они встретились с Сабашниковым в дверях зала. Грозный голос летел с трибуны:

– ...Советские люди гневно отвергают псевдонаучные провокации буржуазной прессы, не говоря уже о глумливых подковырках фигляров из каких-то никому не ведомых, дурно па-

живающих организаций, вопреки воле народов представленных на международном форуме наций!

– Старается Валентин, – покачал головой Сабашников. – А вот там, где надо, пороха у него не хватает.

– Где же? – Лучников глянул уже через плечо на изрыгающий штампованные проклятья квадратный автомат. Удивительно, что эта штука еще и Валентином называется.

– Мы с ним в паре играли утром в теннис против уругвайца и ирландца, – пояснил Сабашников. – Продулись, и все из-за него.

Они вышли. Все трепетало под солнцем.

– Какой могла бы быть жизнь на земле, если бы не наши дурные страстишки, – вздохнул Сабашников. – Как мы запутались со дня первого грехопадения.

– Вот что значит дух ЮНЕСКО, – усмехнулся Лучников.

– Вот ты смеешься, Андрей, а между тем я собираюсь постричься в монахи, – проговорил Сабашников.

– Прости, но напрашивается еще одна шутка, – сказал Лучников.

– Можешь не продолжать, – вздохнул крымский дипломат. – Знаю какая.

В лучниковской «груше» они отправились на Сен-Жермен-де-Пре.

Пока ехали, Лучникову удалось все же сквозь непрерывное фиглярство Петяши выяснить, что тот проделал за последнее время очень важную работу, прояснял позиции Союза и Штатов в отношении Крыма.

– Ну, у Совдепа ясность прежняя – туман, а вот что касается янки, то у них определенно торжествует теория геополитической стабильности этого, ты его знаешь, Андрюша, типчика Сонненфельда, то есть, Андрюша, им как бы насрать на нас с высокого дерева, и дважды о'кей.

Оказалось также, что Сабашников и другого задания за своими «этюдами» не забыл: генерал Витте ждет их ровно в пять.

– Старик является родственником, впрочем не прямым, а весьма боковым, премьера Витте. Эвакуировался с материка в чине штабс-капитана. Остался в строю и очень быстро получил генеральскую звезду. К 1927 году он был одним из самых молодых и самых блестящих генералов на Острове. Барон его обожал: известно ведь, что, несмотря на ежедневный православный борщ, Барон сохранил на всю жизнь ностальгию к ревельским сосискам. Не подлежит сомнению, что еще год-другой, и молодой фон Витте стал бы командующим ВСЮР (Вооруженные Силы Юга России), но тут его бес попутал, тот же самый бес, что и нас всех уловил, Андрюша, – любовь к ЕДИНОЙ-НЕДЕЛИМОЙ-УБОГОЙ и ОБИЛЬНОЙ-МОГУЧЕЙ и БЕССИЛЬНОЙ, то есть, ты уж меня прости, любовь к ЕНУОМБ, или, по старинке говоря, к матушке-Руси, что в остзейской башке еще более странно, чем в наших скифославянских. Короче говоря, генерал примкнул к запрещенному на Острове «Союзу младороссов», участвовал в известном выступлении Евпаторийских гвардейцев и еле унес ноги от контрразведки в Париж. Когда же в тысяча девятьсот тридцатом наши, Андрюша, родители установили ныне цветущую демократию и отправили Барона на пенсию, фон Витте почему-то не пожелал возвращаться из изгнания и вот смиренно прозябает в городке Парижске вплоть до сегодняшнего дня. Мне кажется, что с ним произошло то, к чему сейчас и я подхожу, Андрей, к духовному возрождению, к отряхиванию праха с усталых ног грешника, к смирению внемлющего... – Голос Сабашникова, достигнув звенящих высот, как бы осекся, как бы заглох в коротком артистически, очень сильном и невероятном по фальши рыдании. Он отвернул свою светлую лысеющую голову в открытое окно «рено» и так держал ее, давая тихим прядям развеваться, давая Лучникову возможность представить себе слезы тихой радости, глубокого душевного потрясения на отвернувшемся лице.

– Чудесно вышло, Петяша, – похвалил Лучников. – Талант твой мужает.

– Ты все смеешься, – тонким голосом сказал Сабашников, и плечи его затряслись: не поймешь – то ли плачет, то ли хихикает.

– Что касается фон Витте, то я думаю, что на Остров он не вернулся, потому что не видел в наших папах союзников. Меня сейчас интересует одно – действительно ли он встречался со Сталиным и что думал таракан о воссоединении.

– Однако я должен тебя предупредить, что старик почти полностью «ку-ку», – сказал Сабашников.

Лучникову удалось с ходу нырнуть в подземный паркинг на Сен-Жермен-де-Пре, да и местечко для «груши» – экое чудо! – нашлось уже на третьем уровне. А вот «мерседесу», который следовал за ними от пляс де Фонтенуа, не так повезло. Перед самым его носом из паркинга как чертик выскочил служащий-негритос и повесил цепь с табличкой «Complet». Водитель «мерседеса» очень было разнервничался, хотел было даже бросить машину, даже ногу уже высунул, но тут увидел выходящих из сен-жерменских недр двух симферопольских денди, и нога его повисла в воздухе. Впрочем, путь джентльменов был недолог, от выхода из паркинга до брассери «Липп», и потому нога смогла вскоре спокойно вернуться в «мерседес» и там расслабиться. Успокоенный водитель видел, как двое зашли в ресторан и как в дверях на них с объятиями набросился толстенный, широченный и высоченный американец.

Джек Хэлоуэй в моменты дружеских встреч действительно напоминал осьминога: количество его распростертых конечностей, казалось, увеличивалось вдвое. Объятия открывались и закрывались, жертвы жадно захватывались, притягивались, засасывались. Все друзья казались миниатюрками в лапах бывшего дискобола. Даже широкоплечий Лучников казался себе балеринкой, когда Октопус соединял у него на спине свой стальной зажим. На какой-то олимпиаде в прошлые годы – какой точно и в какие годы, история умалчивает – Хэлоуэй завоевал то ли золотую, то ли серебряную, то ли бронзовую медаль по метанию диска или почти завоевал, был близок к медали, просто на волосок от нее, во всяком случае, был в олимпийской команде США, или числился кандидатом в олимпийскую команду, или его прочили в кандидаты, во всяком случае, он был несомненным дискоболом. Спросите любого завсегдатая пляжей Санта-Моники, Зума-Бич, Биг-Сур, Кармел, и вам ответят: ну конечно, Джек был дискоболом, он получил в свое время золотую медаль, он и сейчас, несмотря на брюхо, забросит диск куда угодно, подальше любого университетского дурачка. Впрочем, что там спорить о медали, если нынче имя Хэлоуэя соединяется с другим золотом, потяжелее олимпийского, с золотом Голливуда. В последние годы на студии «Парамаунт» он запустил подряд три блокбастера. Начал, можно сказать, с нуля, с каких-то ерундовых и слегка подозрительных денег, с какими-то никому не ведомыми манхэттенскими умниками Фрэнсисом Букневски и Лейбом Стоксом в качестве сценариста и режиссера, однако собрал Млечный Путь звезд, и даже несравненная Лючия Кларк согласилась играть ради дружбы со всеобщим любимцем, сногшибательным международным другом, громокипящим романтиком, гурманом, полиглотом, эротическим партизаном Джеком Хэлоуэем Октопусом. И не просчиталась, между прочим, чудодива с крымских берегов: первый же фильм «Намек», престраннейшая лента, принесла колоссальный «гросс», огромные проценты всем участникам, новую славу несравненной Лючии. Последующие два фильма «Проказа» и «Эвридика, трэйд марк» – новый успех, новые деньги, мусорные валы славы...

– Андрей и Пит! – приветствовал знаменитый продюсер вновь прибывших в дверях «Липпа». – Если бы вы знали, какое счастье увидеть ваши грешные рожи в солнечных бликах, в мелькающих тенях Сен-Жермен-де-Пре. Ей-ей, я почувствовал ваше смрадное дыхание за несколько тысяч метров сквозь все ароматы Парижа. Тудытменярастудыт, мне хочется в вашу честь сыграть на рояле, и я сыграю сегодня на рояле в вашу честь, фак-май-селф-со-всеми-потрохами.

По характеру приветственной этой тирады можно было уже судить о градусах Джека – они были высоки, но собирались подняться еще выше.

На втором этаже ресторана за большим столом восседала вся банда: в центре, разумеется, несравненная Лючия, справа от нее Лейб Стокс, стало быть, нынешний ее секс-партнер, слева Фрэнсис Букневски, то есть партнер вчерашний; по более отдаленным орбитам красавец Крис Хансен, ее партнер по экранной любви, а с ним рядом ее супруг, лысый губастый Макс Рутэн, потом камерамен Володя Гусаков из новых советских эмигрантов со своей женой, почтеннейшей матроной Миррой Лунц, художницей, а также «неизвестная девушка», обязательный персонаж всех застолий Октопуса.

– Привет, ребята! – крикнула Лючия Кларк по-русски.

Ничего, собственно говоря, не было удивительного в том, что мировая суперстар прибегала иногда к ВМПСу (так называли в компании Лучникова «Великий и Могучий, Правдивый и Свободный» язык), ибо это был и ее родной язык, ибо звалась она прежде Галей Буркиной и родилась в семействе врэвакуантов из Ялты, хотя и получила в наследство от временного пристанища своих родителей, то есть от Острова Крыма, татарские высокие скулы и странноватый татарский разрез голубых новгородских глаз. Что подделаешь, садовник Карим часто в жаркие дни сквозь пеструю ткань винограда смотрел на ее маму, а мысли садовников, как известно, передаются скучающим дамам на расстоянии.

Нью-йоркские интеллектуалы по привычке давнего соперничества встретили крымских интеллектуалов напускным небрежением и улыбочками, те, в свою очередь, на правах исторического превосходства, как всегда в отношениях с ньюйоркцами, были просты и сердечны, должно быть, в той же степени, в какой Миклухо-Маклай был любезен с жителями Новой Гвинеи. Хэлоуэй стоял чуть в стороне, углубившись в огромную винную карту, почесывая подбородок и советуясь с немислимо серьезным, как все французские жрецы гастрономии, метрдротелем. «До чего же живописен», – подумал Лучников об Октопусе. Он всегда был выразителем времени и той группы двуногих, к которой в тот или иной момент относился. В пятидесятые годы в Англии (где они познакомились) Октопус был как бы американской морской пехотой: прическа «крюкат», агрессивная походочка. В шестидесятые гулял с бородкой а-ля Телониус Монк, да и вообще походил на джазмена. Пришли семидесятые, извольте: полуседы кудри до плеч, дикой расцветки майка обтягивает пузо, жилетка из хипповых барахолок... чудак-миллионщик с Беверли-Хиллз. Сейчас отгорают семидесятые, неизвестность на пороге, а Джек Октопус уже подготовился к встрече, подрезал волосы и облачился в ослепительно-белый костюм.

За столом между тем установилось тягостное молчание, так как ньюйоркеры уже успели окатить крымцев пренебрежением и не успели еще переварить ответного добродушия. Лючия Кларк с очень недвусмысленной улыбкой смотрела через стол на Лучникова, как будто впервые его увидела, явно просилась в постель. Крис и Макс мрачновато переговаривались, как будто они не муж и жена, но лишь товарищи по работе. Володя Гусаков, как и полагается советскому новому эмигранту, стеснялся. Жена его Мирра каменной грудью, высоко поднятым подбородком как бы говорила, что она будет биться за честь своего мужа до самого конца. Лучников старался не глядеть на ньюйоркеров, чтобы не разозлиться, и успокоительно улыбался в ответ Лючии Кларк: легче, мол, Галка, легче, не первый день знакомы. Букневски и Стокс, развалившись в креслах и выставив колени, переглядывались, подмигивали друг другу, посмеивались в кулак, но явно чувствовали себя как-то не в своей тарелке, что-то им мешало. «Неизвестная девушка», кажется, порывалась смыться. Один лишь Петр Сабашников чувствовал себя полностью в своей тарелке: он мигом актерским своим чутьем проник в сердцевину ситуации и сейчас с превеликим удовольствием разыгрывал участника тягостного молчания, застенчиво сопел, неловко передергивал плечами, быстренько исподлюбя и как бы украдкой взглядывал на соседей и тут же отворачивался и даже как будто краснел, скотина эдакая.

– Да что же ты там возишься, Джек?! – прервал молчание Лучников.

Хэлоуэй подошел и сел во главе стола.

– Мы выбирали вина, – сказал он. – Сейчас это очень важно. Если неправильно выберешь вино, весь обед покатится под откос, и все вы через два часа будете выглядеть как свиньи.

Тут все засмеялись, и «тягостное молчание» улетучилось. Огромная фигура, добродушные толстые щеки и маленькие цепкие и умные глазки во главе стола внесли гармонию. Вина оказались выбранными правильно, обед заскользил по накатанным рельсам: авокадо с ломтиками ветчины, шримпы, черепаховый суп, почки по-провансальски, шатобрианы – «Липп» под дирижерскую палочку Октопуса не давал гостям передохнуть.

Лучников стал рассказывать Люции и Джеку про дипломатический демарш Пети в подкомитете ЮНЕСКО. Дипломат притворно возмущался – «как ты смеешь выставить меня в карикатурном свете!». Люция хохотала. Ньюйоркеры, заметив, что русские дворяне не очень-то кичатся своей голубой кровью, с удовольствием похерили манхэттенский снобизм. Разговор шел по-английски, и, глянув на Володю Гусакова, Лучников подумал, что тот, быть может, не все понимает.

– Что-то я не все понимаю, – тут же подтвердил его мысль Володя Гусаков. – Что это такое забавное вы рассказываете о процентах свободы?

Простоватое молодое лицо его покрылось теперь сеточкой морщин и выражало настороженную неприязнь. Быть может, он как раз все понял, может быть, даже больше, чем было рассказано.

– Джентльмен шутит, – ломким голосом, поднимая подбородок, сказала его жена. – Наша боль для него – возможность поострить.

Американцы не поняли ее русского и рассмеялись.

– Мирра оф Москоу, – сказал Букневски. – Леди МХАТ.

Рука дискобола через стол легла на плечо Володи Гусакова.

Лучников вдруг заметил, что маленькие глазки Джека не сияют, как обычно, а просвечивают холодноватой провололочкой W. Только тогда он понял, что это не просто дружеский обед, начало очередного парижского загула, что у Октопуса что-то серьезное на уме. Он смотрел то на Джека, то на Володю Гусакова. Новые эмигранты для всего русского зарубежья были загадкой, для Лучникова же мука, раздвоенность, тоска. По сути дела, ведь это были как раз те люди, ради которых он и ездил все время в Москву, одним из которых он уже считал себя, чью жизнь и борьбу тщился он разделить. Увы, их становилось все меньше в Москве, все больше в парижских кафе и американских университетских кампусах. В Крым они наведывались лишь в гости или для бизнеса, ни один не осел на Острове О'кей: не для того мы драпали от Степаниды Власьевны, чтобы снова она сунула себе под подол.

Он хотел было что-то сказать Володе Гусакову: дескать, напрасно вы обижаетесь, я не над вами смеюсь, а над собой... но вдруг пронзило, что Володя Гусаков и его жена Мирра Лунц не поймут ничего, что бы он ни сказал, как бы он ни сказал, на каком бы языке, хоть на самой клевой московской чердачной фене. Вот она, пропасть, это и есть тот самый шестидесятилетний раскол в глыбе «общей судьбы».

– Вы, русские, – мазохисты, – засмеялся Джек. – Андрей и Володя, как знаток славянской души я вас развожу на десять минут.

Он встал, положил одну руку на плечо «неизвестной девушки» – пойдём с нами, пусси-кэт, – и подмигнул Лучникову – надо, дескать, обмозговать наши блядские делишки. Лучников, однако, уже понимал, что разговор пойдет о другом.

Конечно, этот поход вниз, в бар, затянулся не на десять минут, а на все тридцать. Разумеется, в липповском баре оказалось у Хэлоуэя не менее трех знакомых, как раз не менее и не более трех человек восседали там на табуретках. Один из знакомых, некий гонкуровский лауреат, похожий скорее на пьянчужку-часовщика, чем на утонченного французского писателя,

оказался к тому ж лучшим другом Октопуса, и это тоже было нормально, потому что из трех знакомых один всегда был его лучшим другом. С барменом тоже было какое-то общее прошлое, какие-то сложные отношения, возникшие в последний приезд, какая-то жалоба какого-то мосье Делану, визиты комиссара Привэ, который все-таки оказался, как и предполагал бармен, хорошим парнем, мосье Октопус ошибался на его счет, но во всяком случае на теперешний момент никакие неприятности в VI арандисмане Парижа ему не угрожают, потому что мосье Привэ полностью соответствует своему имени, это «Привэ», это старая Франция, мосье Октопус, где люди умели смотреть друг другу в глаза и понятия не имели о кошмарных чудесах социализма, компьютерах, мосье, наступающих на нас, прошу понять меня правильно, из Америки, а вовсе не из России, как полагают некоторые, эти чудеса социализма, хранящие память обо всех твоих пустяковых прегрешениях, мосье, будь это перевернутый столик в кафе, или пощечина негодяю, или грошовое полотенце, пропавшее в отеле, как это случилось с одним польским профессором, вот такое чудисце сыскного социализма, мосье, установлено сейчас и в VI арандисмане Парижа, мосье, но вы туда не попали, благодаря мосье Привэ, корректман. Тут еще «неизвестная девушка» стала бунтовать, увидела в окне свою соблазнительную подружку и хотела убежать вслед за ней, и Хэлоуэю пришлось держать ее обеими руками за попку и горячо убеждать почему-то по-испански в бессмысленности и малой эффективности лесбийской любви.

– Слушай, ты мне надоел, Осьминог, – сказал наконец Лучников, он стал уже поглядывать на часы – как бы не опоздать к генералу Витте.

Джек тогда выпустил свою девчонку, отвернулся от бармена, прикрыл ладонью ухо, в которое время от времени что-то бормотал ему гонкуровский лауреат, матюгнулся на всех доступных ему языках, а их было не менее десятка, затем в стиле президента Никсона положил Лучникову руку на плечо и стал выкладывать свое деловое предложение, от которого Лучников едва не свалился на пол:

– ...Послушай старина мне это надоело ты знаешь сколько я башлей нагреб за последние годы но я клянусь тебе вот этой правой своей рукой которой делаю Андре все свое основное вот этой незаурядной ручищей которая мне нужна хотя бы для того чтобы расстегнуть ширинку что я ворочаюсь в этом блядском бизнесе живых картинок вовсе не для денег ну я вижу ты уже улыбаешься предвкушаешь как старый Октопус заговорит сейчас об искусстве но я не заговорю хотя и не вижу причин для застенчивости не заговорю хотя бы потому чтобы ты старая лошадь с голубой кровью не стала хихикать над ребенком филадельфийского дна да я был ребенок филадельфийского дна а ты не знал разве о моем ужасном детстве так вот я тебе скажу хотя бы только то во что ты надеюсь поверишь а если не поверишь я сброшу тебя со стула и вызову мосье Привэ а тот упечет тебя в свой социалистический компьютер и тебя больше уже никогда не пустят в Париж и ты будешь как Вечный жид носиться тысячелетия по спиралям вокруг Парижа но никогда уже сюда не попадешь из-за непотребного поведения в баре ресторана «Липп» или будешь ворчать и выть на своем Острове О'кей пока не придут красные так вот я тебе скажу что я кручу свою машинку не для себя а чтобы давать пропитание всей этой безобразной сволочи которая меня окружает и чтобы осуществлять мечты всей этой международной неблагодарной мрази то есть моих друзей и если ты и в это не поверишь клянусь своей пятой конечностью тебя милейший сегодня же вышлют из Парижа и прикуют цепью к статуе Маркса возле гостиницы «Метрополь» и ты будешь там сидеть вплоть до того как начнется твоя любимая Общая Судьба а потом коммисы в знак благодарности выебут тебя батонком докторской колбасы и сошлют в вечные льды Йошкар-Олы чего надеюсь никогда не случится потому что я тебя люблю и ты мой лучший без всякой брехни друг по всем материкам и я твой раб...

Сказав все это в безупречном стиле прежних пьянок, Джек Хэлоуэй внезапно заговорил как трезвый.

– Я, знаешь ли, недавно прочел твою книгу «Мы – русские?». Сногшибательно! Все эти психологические курьезы. Это свойственно, быть может, только вам, русским. Англичане, колонизируя острова и прочие пространства, тут же начинали стремиться к отделению от метрополии. У вас второе поколение спасшихся, не говоря уже о третьем, начинает мечтать о суровых объятиях передового, хотя и самого тупого, народа в истории. Суицидальный комплекс, нравственная деградация... но как все это преподносится в твоей книге! Браво, Андрей, ни в журналистском мастерстве, ни в мистическом чувстве истории тебе не откажешь. Ей-ей, татарская сперма отравила вашу аристократию навсегда. Скажи только честно: воссоединение с Россией, то есть поглощение Крыма Союзом, – это действительно твоя мечта или это... ну... или это такой твой политический прием? Мы не виделись несколько лет, дружище. Я хотел бы знать, что у тебя за душой.

Хэлоуэй пожирал Лучникова глазами. Две проволочки W накалились уже добела, и свет их гасил цветовую мешанину бутылок на стене бара и окон, открытых на Сен-Жермен-де-Пре. Мир выплел и теперь полыхал в черно-белом интенсивном свечении. Мрак благородными складками висел прямо над головой. Лучников ощущал пожатия дистонии.

– Я никогда не говорил с тобой, Джек, на такие серьезные темы, – проговорил он. – Я предпочел бы и дальше, Джек, держать тебя за своего старого друга Октопуса...

Хэлоуэй усмехнулся, да так, что Лучников подумал: тот ли это человек, которого он знал, вправду ли это Октопус?

– Андрей, нет-нет, нельзя так долго не встречаться. Ты, должно быть, не все понимаешь. Ты понимаешь хотя бы то, что любой другой политический писатель в мире отдал бы много за такую беседу со мной? Ты не понимаешь, дурачок, что у меня к тебе предложение? Деловое предложение?

– Что у нас общего? – Лучников нажимал пальцами на глазные яблоки, но краски мира не возвращались. Тогда он выпил залпом двойной коньяк, и сразу все встало на место. – Если тебя интересует реклама, то «Курьер» и так отводит много места твоим фильмам. Лючия не сходит с наших страниц... Жемчужина Острова, что ты хочешь...

– Чудак! – прервал его Хэлоуэй. – Мое предложение стоит подороже таких блядей, как Лючия. Мы можем с тобой, Андрэ, воссоединить Остров с Россией!

– Что ты мелешь? – Лучников напрягнулся, схватил Октопуса за запястье, заглянул в глаза. – Что означает этот вздор?

– Мосье Гобо, у вас немножко слишком отросло правое ухо, – сказал Хэлоуэй бармену, который на другом конце стойки занимался подсчетами. – Пройдемся, Андрей, по чистому воздуху. Терпеть не могу, когда у человека в моем присутствии отрастает ослиное ухо.

На бульваре американец взял Лучникова под руку в некое подобие стального зажима и, увлеченно размахивая свободной рукой и заглядывая в глаза, стал развивать идею.

Фильм. Они снимут гигантский блокбастер о воссоединении Крыма с Россией. Трагический, лирический, иронический, драматический, реалистический и «сюр» в самом своем посыле суперфильм. Тоталитарный гигант пожирает веселенького кролика по воле последнего. Лучников напишет сценарий. Собственно говоря, сценарий почти готов. Массовка готова. Снимать будет Виталий Гангут. Стокса попрем под жопу коленкой, слишком гениальным стал. Не важно, что Гангут в Москве, мы его вытащим оттуда, это сейчас не проблема. Принимаешь предложение, старик?

– Отпусти-ка мою руку, – сказал Лучников.

– А в чем дело? – как-то странно удивился Хэлоуэй, но руку не отпустил.

– Закурить хочу, – сказал Лучников. – Какого хера ты вцепился? Что я тебе – баба?

– Ты чудак, какой-то странный тип, – бормотал вроде бы растерянно могучий Октопус и так и не выпускал руки Лучникова. – Тебе предлагают миллионы, а ты...

– Ну-ка! – Свободной рукой, ребром ладони, Лучников шарахнул его по животу и вырвал свою левую.

Измученный гигант остановился посреди текущей парижской толпы. На него оглядывались. Лучников отошел на несколько шагов, закурил свою «Пантеру» и только тогда спросил:

– От чьего имени ты меня провоцируешь?

– Сволочь! – пролетело в ответ над головами парижан.

Октопус зашагал прочь, но остановился через несколько метров и снова крикнул:

– Я тебе как другу, а ты... говно!

Еще несколько шагов в слепой ярости, и гулкой трубой от кафе «Де Маго»:

– Знать тебя не хочу!

Лучников не двинулся с места.

Хэлоуэй бухнулся в кресло на тротуаре, в последний раз показал кулак Лучникову и стал звать официанта.

Лучников увидел через улицу, что из «Липпа» вышел Сабашников. Он махнул ему рукой, и они стали двигаться ко входу в паркинг, где и встретились через минуту. Сабашников, изображая оскорбленную добродетель, поведал Лучникову, как развивались за эти полчаса события на дружеском кинообеде. Американские знаменитости в конце концов обозвали его дегенератом-дворянином, а Володя Гусаков высказался в том духе, что он с одной стороны белогвардейский недобиток, а с другой – красный жополиз, а Лючия Кларк расстегнула ему под столом «молнию» на ширинке. Как ты понимаешь, обстановка за столом стала невыносимой, не выдержали даже мои закаленные в ЮНЕСКО нервы, и я ушел, не сказав ни единого слова.

– За исключением? – спросил Лучников.

– Ну, я только лишь сказал на прощание, что их стол – это «табль де гиньоль», вот и все. После этого ушел, не сказав ни единого слова. За исключением, ну... Словом, все это кошмар. Миазмы вражды, неизбывного скандала отравляют мир. Близится час холокоста. Пока не поздно – в монастырь, куда-нибудь на Мальту, куда-нибудь на острова Тристан-да-Кунья... Не знаешь, где самый отдаленный и самый бедный православный монастырь?

Они выехали на поверхность, и теперь нужно было пробираться через все более и более сатанеющее движение на Правый берег, на улицу Бьенфезанс, где вот уже пятьдесят лет жил неудавшийся деятель русской идеи генерал фон Витте.

Лучников ни слова не сказал другу о предложении американца. По сути дела, он и себе не сказал еще ни слова об этом. Он знал, что его будет разбирать злоба все больше и больше, когда он начнет размышлять над этим кощунственным, типичным для растленных «мани-мэйкеров» с холмов Беверли предложением.

Так или иначе, он приказал себе пока не заводится, вернулся в карусель своего парижского дня и вспомнил о том, что следует позвонить в советское посольство.

– Алло! Товарищ Тарасов? С вами говорит Андрей Лучников.

– Добрый день, господин Лучников, – расплылся в трубке любезнейший голос. – У телефона Мясниченко.

– Я по поводу своей визы, – сказал Лучников, глядя из телефонной будки на освещенную солнцем грань церкви Сен-Жермен-де-Пре. – Есть ли какое-нибудь движение?

Последнее выражение, типичное для современной соцбюрократии, было употреблено сейчас с максимальной точностью. Какое дивное в этот момент произошло в мире соединение: господин говорит с товарищем на одном языке. Дивны дела Твои!

– Все в полном порядке, господин Лучников. – Товарищ Мясниченко, должно быть, представлял из себя неиссякаемый генератор душевного тепла.

– Возможно ли это? – изумился Лучников.

– Более чем возможно, Андрей Арсеньевич. Просто-напросто все уже готово, осталось только сделать пометку в вашем паспорте. Я жду вас, Андрей Арсеньевич...

– М-да-с... честно говоря, я не ожидал такой оперативности... я в дикой запарке... – забормотал Лучников.

– Не извольте беспокоиться, Андрей Арсеньевич. Это займет у нас не более десяти минут.

Товарищ Мясниченко как бы платит любезностью за любезность, в ответ на лучниковские советизмы, включающие даже и «дикую запарку», отвечает старорежимным «не извольте беспокоиться». Так, вероятно, он полагает, говорят, как в классической литературе, нынешние последыши и недобитки.

И в самом деле процедура на рю Гренель заняла не более десяти минут. Товарищ Мясниченко оказался молодым человеком, советикусом новой формации: легкая, чуть-чуть развинченная походка, слегка задымленные стильные очки, любезнейшая, хотя немного кривоватая улыбка.

Сунув паспорт в карман, Лучников бодро прошагал до угла бульвара Распай, где в «рено» ждал его Сабашников. Поехали.

Дипломат Петяша, как будто и не прерывался, продолжал стенания:

– Послушай, Андрюшка, давай пошлем все это к едреной фене, давай уедем в Новую Зеландию. Купим землю, устроим там русский фарм, заманим нескольких друзей и отца Леонида, будем выращивать овощи, встречать закат жизни, читать и толковать Писание... Неужели тебе не надоело – что? – да все это вокруг: Париж, Нью-Йорк, Симфи, Москва, все эти женщины и мужчины, полиция, политика – здесь лучше ехать прямо на Конкорд, – эх, если бы можно было собрать десятка два добрых друзей и сбежать подальше из этого бардака, я бы и в монастырь тогда не ушел, остался бы в миру, в тихом первобытном окружении, ну вот здесь поворачивай на авеню Вашингтон и ищи парковку.

Лучников предполагал, что в доме генерала он найдет запах маразма, ветхости, набор полусенильных чудачеств, сонмище котов, например, или говорящих птиц, отставшие от стен обои – словом, некий бесстыдный распад. Он мог, конечно, предположить и обратное, то есть опрятную светлую старость, но уж никак не представлял, что попадет в бюро политического деятеля. Между тем за массивной резной дверью с медной табличкой, на которой по-русски и по-французски значился длинный титул генерала, в просторном холле, украшенном старыми географическими картами России, а также портретами нескольких выдающихся людей, среди которых соседствовали друг с другом главнокомандующий Лавр Корнилов и предсовнаркома Ленин, их встретил молодой человек в сером фланелевом костюме, типичный французский дипломат, отрекомендовался секретарем барона фон Витте и сказал, что его превосходительство ждет господ Лучникова и Сабашникова. Генерал сидел в кабинете за огромным письменным столом и что-то быстро писал; немного слишком быстро, чуть-чуть быстрее, чем нужно было, чтобы совсем уже не смахивать на балаганщика.

Те несколько секунд, пока генерал как бы не замечал вошедших (также слишком на одну-две секунды), Лучников сравнивал его со своим отцом. Сравнение явно в пользу Арсения, уже хотя бы по манере, по жесту, генералу явно далеко до безукоризненности вулканного жителя, да и физически Арсений моложе, крепче, хотя, впрочем, и генерала не назовешь развалиной.

Крепкое рукопожатие с задержкой ладони визитера и с проникновенным заглядыванием в глаза: сердечность и благосклонность. Опять перебор! Садитесь, мальчики! Чертовски рад вас видеть, всегда рад гостям из России, особенно молодежи. Хоть и живу уже почти полвека в изгнании, но душой всегда на родине, в ее пространствах, на ее реках, на ее равнинах и островах (последнее очень точно и дельно подчеркнуто). Острейший разведывательный взгляд или имитация острейшего взгляда, во всяком случае, живое бледно-голубое свечение на эрозированной глине лица. Вот, понимаете ли, только полчаса назад принимал секретаря комсомольской организации одного из свердловских тракторных (внушительный спуск и подъем правого века) заводов. Неплохая, неплохая смена подросла у нас на Урале, интересные идеи,

сила, хватка. А как на юге? Что в Крыму? Как, между прочим, здоровье Арсения Николаевича? Кланяйтесь вашему батюшке, горячий ему привет. Ведь мы с ним боевые товарищи. Каховка, Каховка, родная винтовка... М-да-с, ваше счастье, мальчики, что вам не пришлось участвовать в братоубийственной войне. Ну а вы-то как? Что в вашей среде? Чем, как говорится, дышите? Спорт, секс?

Тут фон Витте осекся, кажется, понял, что зарапортовался, переиграл. Говоря весь этот вздор, в том числе и передавая приветы Лучникову-старшему, он на Андрея почему-то не смотрел, а обращался к своему знакомому Сабашникову, а тот, как всегда, тоже уловив фальшивинку, отлично подстроился под игру старика и изображал молодежь, – эдакого гимназиста-переростка, прыщавого дровичу, смущался, хихикал и даже покусывал, подлец, ногти. В конце концов генерал взглянул все же на Лучникова и тут осекся, похоже было, что даже вроде бы слегка испугался. Лучников в этот момент стряхивал пепел своей сигариллы в пепельницу с кремлевской башней, зорко изучал генерала и явно не являлся молодежью, а тем более мальчиком.

– Это правда, Витольд Яковлевич, что вы в тридцать шестом году встречались со Сталиным? – спросил он.

– Мальчики, мальчики. – Старик по инерции покачал пальцем с лукавой укоризной, но явно был напуган.

– Я редактор и издатель «Русского Курьера», вон той газеты, что лежит у вас на столе.

– Помилуйте, Андрей Арсеньевич! – Старик всплеснул руками, изображая невероятную политическую хитрость. – Да кто же не знает!.. Кто же не ценит!.. Вы даже не представляете, как мы здесь, на чужбине, радуемся родному слову, будь то московская «Правда» или симферопольский «Курьер»! Мы, рус...

– Я бы вас попросил, Витольд Яковлевич!.. – Несмотря на сослагательное наклонение и многоточие, эта фраза Лучникова прозвучала немыслимой дерзостью, а подкрепленная последующим странным жестом, легким, в четверть силы, пожатием стариковского запястья, обернулась едва ли не ультиматумом – дескать, кончайте балаган.

Генерал после этой фразы и жеста резко изменился. Быстрая энергичная смена очков, вместо синеватой лукавой дымки чистые и сильные линзы – само внимание.

– Я вас слушаю, господин Лучников.

Начался быстрый диалог, во время которого Петя Сабашников, тоже мгновенно перестроившись, живейшим образом реагировал, вскидывал брови, делал умное лицо, энергично кивал или отрицательно потряхивал легкой дворянской головой.

Лучников: Мы выражаем Идею Общей Судьбы.

Фон Витте: Кого вы представляете?

Лучников: Определенное интеллектуальное течение.

Фон Витте: Именуемое?

Лучников: Именуемое Союзом Общей Судьбы. Аббревиатура СОС.

Фон Витте: Bravo! Это действительно находка – СОС! Однако кого же вы...

Лучников: Ваше превосходительство, ни одна из разведок мира за нами не стоит.

Фон Витте молчит. Глаза за линзами бессмысленно увеличиваются.

Лучников: Вам, должно быть, это трудно представить?

Фон Витте молчит. Глаза осмысленно сужаются.

Лучников: Наша сила в полной гласности и...

Фон Витте: Почему вы запнулись?

Лучников: ...и в готовности к любому повороту событий.

Фон Витте: Я бы произнес слово «обреченность»...

Лучников: Теперь моя очередь вас поздравить. Bravo, генерал!

Обмен ироническими улыбками прошел, что называется, на равных.

Петр Сабашников, сообразив, что клоунада совсем уже закончилась, встал и отошел в тот угол кабинета, где за стеклом аквариума глазели на происходящее декоративные рыбы и в клетках чирикали несколько русских птиц, должно быть подарки комсомольских организаций Урала.

– Быть может, теперь, ваше превосходительство, мой вопрос о Сталине покажется вам более уместным, – сказал Лучников. – Меня интересует, как реагировал вождь прогрессивного человечества на идею объединения.

– Вопрос, быть может, и уместен, но ирония в адрес Иосифа Виссарионовича совершенно неуместна, – строго сказал фон Витте.

– Если вы не захотите ответить на мой вопрос, генерал, значит вы полное говно. – Лучников любезно улыбнулся.

Крепкое словцо было воспринято как шутка. Широчайшая улыбка застыла на лице фон Витте. Правая коленка исторического деятеля дергалась. «Должно быть, сигнализация срабатывает не сразу», – подумал Лучников.

Открылась дверь кабинета. Рядом с секретарем маячили теперь два плечистых парня в клетчатых пиджаках.

– Ай-яй-яй, Витольд Яковлевич, – покачал головой Сабашников. – Я вас всегда держал за человека со вкусом. Ай-яй-яй, батенька, фи-фи-фи...

– Это, должно быть, комсомольцы Урала? – спросил Лучников, разглядывая молодых людей.

– Позвольте мне задать вам встречный вопрос, господин Лучников. Для чего вы спрашиваете о Сталине? – Генерал взирал на визитера с ложной любезностью, которая, разумеется, предполагала за собой угрозу.

– Нам приходится иметь дело с наследниками генералиссимуса, – усмехнулся Лучников.

– Ах, Витольд Яковлевич, Витольд Яковлевич... – продолжал укорять генерала, словно нашкодившего мальчика, Сабашников. – Пугаете нас тремя мускулистыми гомосеками. Это безвкусно...

– Что за вздор, Петяша? – Фон Витте и в самом деле говорил слегка škодливым тоном. – Молодые люди – мои служащие...

– Хотите знать, генерал, почему я вас считаю говном? – светским тоном осведомился Лучников и стал развивать свою светскую мысль, прогуливаясь по кабинету, в котором теперь уже отчетливо виделись ему признаки упадка и гниения, умело, но не бесследно прикрытые спешной уборкой: отставшие обои с мышиным запахом, радиосистема пятнадцатилетней давности, да еще и с отломанными ручками, на карте мира треугольник пылищи едва ли не в палец толщиной, случайно, видимо, обойденный мокрой тряпкой и сейчас под лучом солнца нависший над желтоватыми от ветхости льдами Гренландии.

– Вы – говно, потому что вы слишком рано отдали свои идеалы. Вы дрались за них не больше, чем Дубчек дрался за свою страну. Дубчек, однако, хотя бы не продается, а вы немедленно продались, и потому вы в сотни раз большее говно, чем он. Вы еще прибавили в говенности, ваше превосходительство, когда взяли за свои идеалы слишком малую цену. Поняв, что продешевили, вы засуетились и стали предлагать свои идеалы направо и налево, и потому говна в вас еще прибавилось. Итак, сейчас, к закату жизни, вы можете увидеть в зеркале вместо идейного человека жалкого, низкооплачиваемого слугу трех или четырех шпионских служб, то есть мешок говна. Кроме всего прочего, даже и сейчас, встречая сардонической улыбкой слово «идеалы», вы увеличиваете свою говенность.

Наемные бандиты во время этого монолога вопросительно заглядывали в кабинет: должно быть, никто из них не понимал по-русски. Генерал же явно слабел: политическая хватка покидала его, напряжение оказалось слишком сильным – челюсть отвисла, глаза стекленели.

Лучников и Сабашников беспрепятственно вышли из квартиры и через несколько минут оказались за столиком кафе на тротуаре Елисейских Полей.

– Мне немного стыдно, – сказал Лучников.

– Напрасно, – сказал Сабашников. – Старая сволочь вполне заслужила твоё словечко. Как это могло ему прийти в голову поразить наше воображение такой стражей? Даже если предположить, что он побаивается тебя, то ведь меня-то он уже сто лет знает как жантильного человека. Сколько раз в его смрадной норе играл я с ним в подкидные дураки! А он, видите ли, изображает из себя Голдфингера!

Сабашников ворчал, двигая перед собой из руки в руку бокал «кампари-сода», в этот раз, кажется, не играл, а на самом деле злился.

Между тем наступал волшебный парижский час: ранний вечер, солнце в мансардных этажах и загорающиеся внизу, в сумерках витрины, полуоткрытый рот Сильвии Кристель над разноразличной толпой, бодро вышагивающей по наэлектризованным елисейским плитам.

– А вот тебе, Андрей, я тоже приготовил словечко, – вдруг, словно собравшись с духом, после некоторого молчания проговорил Сабашников. – Помнишь наше гимназическое «мобил-дробил»?

– Ну, помню, и что? – хмуро осведомился Лучников. Разумеется, он помнил весьма обидного «мобил-дробила», которым они в гимназии награждали туповатых и старательных первых учеников, большей частью отпрысков вахмистров и старшин.

– А вот то и значит, что ты, кажется, на своем ИОСе и на своем СОСе становишься настоящим «мобилом-дробилом».

Престраннейшим образом Лучников почувствовал вдруг едкую обиду.

– Кажется, ты сейчас не шутишь, Сабаша.

– Да вот именно, не шучу, хотя и редко это со мной бывает, но вот сейчас, понимаешь ли, не шучу и не играю, и потому только, что ты, мой старый друг, стал таким «мобилом-дробилом»!.. Неужели ты все это так серьезно, Андрей? С такой звериной, понимаешь ли, серьезностью? С такой фанатической монархобольшевистской идейностью? Ты ли это, Луч? Неужели вся жизнь уже кончается, вся наша жизнь?

– Я всегда держал тебя за единомышленника, Сабаша, – проговорил Лучников.

– Да конечно же единомышленники! – вскричал Сабашников. – Но ведь именно по несерьезности мы с тобой единомышленники. Да ведь мы даже и в Будапеште с тобой шутили, а ведь критики нашей в адрес мастодонтов вообще без смеха нельзя читать. Так же ведь и Идея Общей Судьбы... конечно... я не отрицаю, все это серьезно... как же иначе... но... но ведь все-таки... хотя бы... хоть немножечко несерьезно, а?

Он выжидательно замолчал и даже как бы заглянул другу в глаза, но Лучников выдержал взгляд без всякого гимназического сентимента, с одной лишь нарастающей злостью.

– Нет, это совсем серьезно.

– Ты отравлен, – тихо, на полном уже спаде, проговорил Сабашников.

Дикая злость вдруг качнула Лучникова.

– Выродки, – проговорил он, как бы притягивая ускользающие сабашниковские глаза. – Твоя возлюбленная «несерьезность», Сабаша, сродни наследственному сифилису. Прикинь, во что обошлись русскому народу наши утонченные рефлексии. Вечные баттерфляйки на лоне природы! Да катитесь вы все такие в жопу!

На гребне злости он бросил друга в шанзелисейском капище и стал уходить, мощно покачиваясь на гребне злости, даже пнул ногой чугунный стульчик, оказавшийся на пути, и, сжав кулак, повернулся на фотовспышку – узнали, мерзавцы? – но не увидел перед собой никого похожего на репортера, лишь только десятка два разноплеменных лиц, привлеченных – слегка, слегка, конечно, не вполне серьезно – небольшим русским скандалом, и стал уходить все ниже, все дальше от Арки, все ближе к Конкорду, все еще на гребне злости, но уже на

границы спада, сквозь равнодушно-наэлектризованную несерьезную толпу, мимо несерьезности коммерческих твердынь несерьезной цивилизации, все больше сомневаясь в своей правоте, все больше стыдясь себя, все больше коря себя за грубость, за хамство по отношению к своему едва ли не брату – сколько нас было, мальчиков-врэвакуантов из Симфи? Третья классическая имени царя Освободителя, середина века, дюжина братьев... – настоящие ребята, уж никак не «мобил-дробилы»...

С этим он исчез. Лишь только тот, кто шел за ним, не потерял его из виду. Еще щелчок. Флаш-лайт. Снимок длинного паркинга вдоль аллеи, десятки машин и сотни теней. Нужная часть фотографии будет нужным образом увеличена. Кто-то заботится о реконструкции его жизни. Все сохраняется для будущего, хотя и недалекого. Сам он, хоть и носитель исторической миссии, живет утекающей минутой, нимало не заботясь о ее ценности, растрачиваясь в набегающих и утекающих минутах, выруливание, например, на проезжую часть, задняя-передняя, налево-до-отказа-направо-до-отказа, черт бы побрал этих французов, им лишь бы всунуть, а о высывании никто и не думает, как будто, пока они сосут свои аперитивы, все само собой наладится и все сами собой разъедутся... бзык, потерялись все же бочками с раскорякой «ситроеном-дэ-эс»... поток впустую пропадающих минут... гнуснейшая вмятина на правой дверце... плати теперь мистеру Херцу... херцу мистеру херцу... да куда же я опять качу с этим своим вечным ощущением пустяковости, второстепенности своих деяний... что-то главное не сделал, что-то самое важное упустил... о чем я забыл?.. почему не оставляет ощущение чепухи?.. ведь это же все нужно! – даже и интервью это дурацкое на Эй-би-си, даже и прием в честь диссидента... ведь не для себя же стараюсь, для Идеи... ведь это же как раз и есть главное содержание жизни... как же ты, гад Сабашка, мог меня посчитать «мобилом-дробилом»? Бедный ты бедный шут гороховый! Нет, никогда с тобой не расстанусь. Есть ли что-нибудь более грустное, чем участь вечных крымских мальчиков-врэвакуантов?

С этой минорной, а стало быть, уже и не злой нотой он рулил по кишащим пятакам Правого берега, когда его вдруг пронзила паническая мысль: завтра лечу в Москву, а ничего не купил из того, чего там нет!

Не купил: двойных бритвенных лезвий, цветной пленки для мини-фото, кубиков со вспышками, джазовых пластинок, пены для бритья, длинных носков, джинсов – о боже! вечное советское заклятье – джинсы! – маек с надписями, беговых туфель, женских сапог, горных лыж, слуховых аппаратов, водолазок, лифчиков с трусиками, шерстяных колготок, костяных шпилек, свитеров из ангоры и кашемира, таблеток алка-зельцер, переходников для магнитофонов, бумажных салфеток, талька для припудривания укромных местечек, липкой ленты «скотч», да и виски «скотч», тоника, джина, вермута, чернил для ручек «Паркер» и «Монблан», кожаных курток, кассет для диктофонов, шерстяного белья, дубленок, зимних ботинок, зонтиков с кнопками, перчаток, сухих специй, кухонных календарей, тампакса для менструаций, фломастеров, цветных ниток, губной помады, аппаратов hi-fi, лака для ногтей и смывки, смывки для лака – ведь сколько же подчеркивалось насчет смывки! – обруча для волос, противозачаточных пиллюль и детского питания, презервативов и сосок для грудных, тройной вакцины для собаки, противоблошиного ошейника, газовых пистолетов, игры «Монополия», выключателей с реостатами, кофемолок, кофеварок, задымленных очков, настенных открывалок для консервов, цветных пленок на стол, фотоаппаратов «поляроид», огнетушителей для машины, кассетника для машины, присадки STR для моторного масла, газовых баллонов для зажигалок и самих зажигалок с пьезокристаллом, клеенки для ванны – с колечками! – часов «кварц», галогенных фар, вязаных галстуков, журналов «Vogue», «Playboy», «Down beat», замши и чего-нибудь из жратвы...

Приедешь с пустыми руками, будешь неправильно понят. Всеми будешь неправильно понят. Даже самый интеллигентный и духовно углубленный москвич смотрит на иностранца, особенно на крымского гостя, с немим вопросом: чего принес? Любая ерундовая штучка

повышает настроение, знак присутствия в природе иной системы жизни, соседства с царством «экономической демократии». Нельзя ничего не привезти, это свинство ничего не привозить в Москву. Час пик – западня, негде оставить машину, да и бессмысленно, не заходить же в «Галери Лафайет» на полчаса, а через полчаса телевизионщики, нельзя ссориться с этой сволочью, то есть ссориться-то можно, но опаздывать нельзя... а Татьяне-то своей ничего не купил!

В полном уже смятении он увидел себя катящим по Фобур Сент-Оноре и вспомнил, что где-то здесь располагается сногшибательный сенлорановский магазин. Ничего не скажешь, повезло товарищу Луниной!

Как славно, в самом деле, заниматься буржуазной жизнью! Зайти в прохладный и пустой, с тишейшей успокаивающей музыкой салон, раскланяться с появившимся из зеркальных глубин умопомрачительным созданием – зеленые ресницы, шифоновое струящееся одеяние... Он, она, оно молчит, но так смотрит, что перед тобой открывается целый мир таинственных возможностей.

Итак... мадам? мосье?.. простите, мадемуазель, приятная неожиданность... итак, мне нужно все для молодой дамы, блондинки, вашего роста, но вполне отчетливых очертаний, все, начиная от бра, кончая манто, включая серьги, браслет и бижу. Прошу вас включить свою фантазию, но не выключать, разумеется, и здравого смысла. Говоря это, мадемуазель, я имею в виду не финансы, но некоторую сохранившуюся еще кое-где в мире традиционность полового самоощущения и еще раз подчеркиваю, что потребитель – женщина. Улавливаю блики смысла в ваших очах и воздаю вам должное за то, что вы добрались до него, то есть до смысла, несмотря на малоудобный для вас язык и вечную драму Эгейского моря, в которую вы погружены по праву своего воспитания. Могу еще добавить, что в моем распоряжении всего пятнадцать минут. К ним уже спешила завотделом в мужском коммунистическом костюме.

Пятнадцать не пятнадцать, но через полчаса он вышел на улицу в сопровождении трех сенлорановских существ, несущих дюжину коробок для удачливой москвички. Ближайшее отделение могучего «Симфи-карда» на авеню Опера санкционировало утечку личного капитала на 15 899 франков, ни много ни мало как две с половиной тысячи тичей, то есть два с половиной миллиона русских военных рублей. Плюс штраф под щеточкой «рено». Поклон в сторону «баклажанчика». Браво, мадам, вы тоже дали волю своей фантазии – пятьсот франков, лучше не придумаешь! Ну-с, девочки, валите всю эту дрянь сюда, на заднее сиденье. Ну, вот вам всем по сотне на зубные щетки, а вам, товарищ мадам, крепкое партийное рукопожатие. Учение Ленина непобедимо, потому что оно верно. Оревуар, девочки. Если среди ночи придет фантазия посетить щедрого дядю, то есть вот этого мальчика, да-да, меня, на бульваре Распай в отеле «Савой» – милости просим. Приглашение, конечно, распространяется и на вас, товарищ.

И также вы все, телевизионщики Эй-би-си, спикеры, гафферы, камерамены, вся сволочь, знайте, что Андрей Лучников – не «мобил-дробил». Он – Луч, вот он кто... мотоциклист, баскетболист и автогонщик, лидер молодежи пятидесятых, лидер плейбойства шестидесятых, лидер политического авангарда семидесятых, он лидер. И так в манере золотых пятидесятых можно положить руку на плечо одному из этих современных американских зануд и сказать:

– Call me Lootch, buddy!

Итак, на экране Эндрю Луч, один из тех, кого называют «ньюсмейкерами», производителями новостей.

Интервью получалось забавнейшее. Зануда, кажется, рассчитывал на серьезный диалог вокруг да около, вроде бы о проблемах «Курьера», о том, как удастся издавать на отдаленном острове одну из влиятельнейших газет мира, но с намеками на обреченность как лучниковской идеи, так и газеты, так и всего ОК. Система ловушек, по которой бычок пробежит к главному убойному вопросу: представляете ли вы себе свою газету в СССР?

– У нас, русских, богатое воображение, господа. Немыслимые страницы партийной печати – это тоже продукт нашего воображения. А что из себя представляет наш невероятный Остров? Ведь это же не что иное, как тот же UFO, с заменой лишь одного срединного слова – Unidentified Floating Object. Весь наш мир зиждется на вымыслах и на игре воображения, поэтому такой пустяк, как ежедневный «Курьер» в газетных киосках Москвы, представить нетрудно, но, впрочем, еще легче вообразить себе закрытые газеты из-за бумажного дефицита, ибо если мы можем сейчас вообразить себе Россию как единое целое, нам ничего не стоит понять, почему при величайших в мире лесных массивах мы испытываем недостаток в бумаге.

Слегка обалдевший от этого слалом хозяин ток-шоу мистер Хлопхит волевым усилием подтянул отвисшую челюсть. Неопознанный Плавающий Объект – это блестяще! Браво, мистер Лучников. Да-да, Луч, спасибо вам, бадди, мы надеемся, что еще... Конечно-конечно, и я благодарю вас. Хлоп! А сейчас... – Он увидел, что камера надвигается, и быстро улыбнулся – органика и металлокерамика сверкнули одной сексуальной полоской. – Дружба телезвезд по всем континентам. Я не приглашаю вас в страну ароматов, хотя почему бы вам туда не приехать? Читайте! Все подробности в «Курьере»! Адью!

Щелчок. Софиты погасли. Отличная концовка. Ну, Хлоп, нет ли чего-нибудь выпить? Простите, я не пью, мистер Лучников. Да, Хлоп, я вижу, ты настоящий «мобил-дробил»! Простите, сэр? Целую! Пока!

Он уже представлял себе обложку еженедельника – черный фон, контуры Крыма, красные буквы UFO и обязательно вопросительный знак. Ловкая журналистская метафора... Снова, в который уже раз за сегодняшний день, выплыло: я – осатаневший потный международный лавочник, куда я несусь, почему не могу остановиться, не могу вспомнить чего-то главного? Что убегает от меня? Откуда вдруг приходят спазмы стыда?

Слово «потный», увы, не входило в метафорическую систему: от утренней свежести не осталось и следа – оливковый пиджак измят, на голубой рубашке темные разводы. Ночная улица возле телестудии испаряла в этот час свой собственный пот и не принесла ему прохлады. Вдруг он почувствовал, что не может шевельнуть ни рукой, ни ногой. Иной раз уже стали появляться такие вот ощущения: сорок шесть годков повисли гирьками от плеч до пяток. Даже голова не поворачивается, чтобы хотя бы проводить взглядом медленно идущий мимо «мерседес», из которого, кажется, кто-то на него смотрит. По счастливой иронии улица называлась рю Коньяк Же. Да-да, конечно же, двойного коньяка же поскорее же.

Итак, Платон. Анализ тирании. Уединение...

Ну вот, мосье, вы уже улыбаетесь, сказал буфетчик. Тяжелый был день? В бумажнике среди шуршащих франков обнаружился картонный прямоугольник – приглашение на рю де Сент-Пер – прием в честь диссидента. Не пойти нельзя. Еще одну порцию, сирь ву плэ.

Трехэтажная квартира в доме XVI века, покосившиеся, натертые до блеска полы, ревматически искореженные лестницы из могучего французского дуба – оплот здравого смысла своего времени, гнездо крамолы наших дней.

Гости стояли и сидели по всем трем этажам и на лестницах. Французская, английская, русская, польская и немецкая речь. Почетный гость, пожилой советский человек, говорил что-то хозяйке (длинное, лиловое, лупоглазое), хозяину (седое, серое, ироничное), гостям, журналистам, издателям, переводчикам, писателям, актерам, ультраконсерваторам и экстрарадикалам – парижское месиво от тапочек-адидасок до туфель из крокодиловой кожи, от значков с дерзкими надписями до жемчужных коле... Среди гостей была даже и одна звезда рока, то ли Карл Питере, то ли Питер Карлтон, долговязый и худой, в золотом пиджаке на голое тело. Непостижимые извивы марихуанной психологии перекинули его недавно из Союза красных кхмеров Европы в Общество содействия демократическому процессу России.

Лучников знал диссидента, милейшего московского дядечку, еще с середины шестидесятых годов, не раз у него сиживал на кухне, философствовал, подавляя неприязнь к баклажан-

ной икре и селедочному паштету. Помнится, поражало его всегда словечко «мы». Диссидент тогда еще не был диссидентом, поскольку и понятия этого еще не существовало, он только еще в разговорах крамольничал, как и тысячи других московских интеллигентов крамольничали тогда в своих кухнях. «Да ведь как же мы все время лжем... как мы извращаем историю... да ведь Катинский-то лес это же наших рук дело... вот мы взялись за разработку вольфрама, а технологии-то у нас современной нет, вот мы и сели в лужу... и сами себя и весь мир мы обманиваем...» Как и всех иностранцев, Лучникова поражало тогда полнейшее отождествление себя с властью.

Сейчас, однако, он не подошел к виновнику торжества. Будет случай, пожму руку, может быть, и поцелую, влезать же сейчас в самую гущу слегка постыдно. Опершись на темно-вишневую балку XVI века, попивая чудеснейшее шампанское и перебрасываясь фразами с герлфрендихой писателя Флойда Руана, скромняшкой из дома Вандербильдтов, он то и дело поглядывал в тот угол, где иногда из-за голов и плеч появлялось широкое, мыльного цвета лицо, измученное восторженным приемом «свободного мира».

Ему бы выспаться, недельки три в Нормандии в хорошем отеле на берегу. Он никогда прежде не был на Западе. Семь дней, как высадился в Вене, и на плечах еще москвошвеевский «спинжак». Ему бы сейчас ринуться по магазинам, а не репрезентировать непобедимый русский интеллект. Он борется с головокружением, он на грани «культурного шока». Еще вчера на него косился участковый, а сегодня вокруг такие дружественные киты и акулы, не хватает только Брижит Бардо, но зато присутствует сенатор Мойнихен. Акулы и киты, вы все знаете о его смелых выступлениях в защиту прав человека, но вы не представляете себе квартиру на Красноармейской с обрезанным телефоном, домашние аресты в дни всенародных праздников, вызовы в прокуратуру, намеки на принудительное лечение, этого я и сам не представляю, хотя хорошо представляю Москву.

Так размышлял Лучников, глядя на появляющееся временами в дальнем углу у средневекового витража отечное потное лицо, то шевелящее быстро губами, то освещаемое слабенькой, хотя и принципиальной улыбкой. Так он размышлял, пока не заметил, что и сам является объектом наблюдения.

Над блюдом птицы целая компания. Жрут и переговариваются. Кто-то молотит воздух ладонью. Некто – борода до скул, рассыпанные по плечам патлы, новый Мэнсон, а глазки чекистские. Эй, Лучников, а ты чего сюда приперся?! Господа, здесь кремлевская агентура!

– What are they talking about? – спросила мисс Вандербильдт.

Русская компания приближалась. Три мужика и две бабы. Никого из них он не знал. Впрочем, пардон... Вот этот слева милейший блондин, в таких изящнейших очках, да ведь Слава же, это же Славка, джазовый пианист, знакомый еще с 1963-го... «КМ» на улице Горького... Потом я устроил ему приглашение в Симфи, да-да, это уже в 1969-м, и там он сорвал концерты, потому что запил, орал в гостинице, голый гонялся за женщинами по коридору – «мадам, разрешите пипиську потереть?..», после чего он «подорвал» в Штаты... Конечно, это Слава...

Я тебе не Славка, падла Лучников, предатель, большевистская блядь, сколько тебе заплатили, хуесос, за Остров Крым, мандавошка гэбэшная, я тебе не Славка, я таких, как ты, раком на каждом перекрестке, говна марксистского кусок, пидар гнойный, комисс триперный заразный!

Попробуйте сохранить европейскую толерантность при развитии московского скандала. Улыбка еще держится на вашем лице при первом витке безобразной фразы, она, быть может, и удержалась бы на нем, на лице, надменная ваша улыбка, если бы фраза не была так длинна, столь безобразна. У хорошенького Славки оловянные глаза. Увы, он не стал Дейвом Брубеком, Оскаром Питерсоном, Эрлом Гарднером, увy, он ими и не станет, потому что вы сейчас

сломаете ему кисть правой руки. Запад, зараженный микробами большевизма, не про-ре-аги-ру-ет. Храбрые воители свободы, еще вчера ваявшие в Москве «Ильичей» по оптовым подрядам, заполнявшие рубрики «год ударного труда», не прореагируют тоже, потому что боятся шикарного общества. Прощайся со своей правой рукой, Слава, уже не подроочишь теперь ею ни клавиши, ни солоп.

Особым китайским зажимом (он научился этому на Тайване у дружка, майора войск специального назначения) он держал слабую кисть агрессивного пианиста и медленно пробирался (вместе с пианистом) к столу с напитками – надо все-таки чего-нибудь выпить. Изумленное «О» на лице Славы, подзакатившиеся глазки, грань болевого порога. Послушно двигается рядом. Товарищи по оружию перешептываются. Одного из них Лучников определенно помнит по Москве: он был фотографом в «Огоньке», еврейчик из-под софроньевской жопы. Выпьем, Слава, у тебя одна рука свободна и у меня одна – давай выпьем «Хеннеси»? Ах, ты теперь не пьешь? Так что же, колешься? Ты, ублюдок, уже девять лет на Западе и мог бы довести до сведения новичков, что здесь не все принципы соцреализма имеют хождение и, в частности, «кто не с нами, тот против нас» – ценится только среди мафиози, в их среде, в мафии, понимаешь ли, в мафии это закон, а в нормальном обществе – вздор собачий. Теперь терпи, недоносек Слава. Давай-ка я представлю тебя Каунту Бейси. Мистер Бейси, вам однорукий пианист не нужен?

Они двигались от одного дринка к другому, от слоеных пирожков к хвостикам креветок, то одна шишка, то другая кланялись редактору могущественного «Курьера», и Лучников чесал направо и налево по-английски, по-французски и по-русски, договаривался о каких-то встречах, ланчах, подмигивал красоткам, даже иной раз и высказывался, отвесил, например, нечто глубокомысленное о переговорах SALT, и все это время незадачливый Слава, спасая свое орудие производства, тащился рядом. Малейшая попытка освободиться кончалась страшной болью в орудии производства, то есть в правой руке. Задвинутые писательницей Фетонье вправо и продвинутые вперед издателем Ренуаром, они слышали пару фраз диссидента: «... да поймите же, товарищи, нам ни в чем нельзя верить... нельзя верить ни одному нашему слову...»

Ошеломленный переводчик, юноша из третьего поколения франко-русов, после мгновенного столбняка занялся уточнением мысли своего подопечного, в то время как окружавшие диссидента киты и акулы, уловив борщеватое слово «товарищи», великодушно смеялись: нашел «товарищей».

Тут диссидент так ярко вдруг просиял, что все киты и акулы обернулись в адрес сияния и, увидев популярную физиономию редактора «Курьера», тоже просияли, да так ослепительно, что наш герой как бы вновь почувствовал себя под софитами киносъемки.

– Андрюша!

Пришлось отпустить миленького Славика, слегка предварительно поддав ему под грешные ягодицы коленкой.

Сплелись объятия. По-прежнему, несмотря на недельную «дольче виту», из складок лица пахло селедочным паштетом. Несколько шариков влаги бодро уже снижались по пересеченной местности... как ярко все вспоминается!.. Так сразу!.. Андрюша, ведь ты, наверно, еще нашу старую квартиру помнишь в Кривоарбатском переулке... помнишь, как сиживали?! нет, ты подумай только – я в Париже!.. Нет, ты вообрази!

Немыслимость пребывания человека в Париже вдруг исказила добрейшее лицо подобием судороги, но тут же другая немыслимость вызвала еще более сильные чувства. Как? Ты в Москву? Завтра? В Москву? На несколько дней? Немыслимо!

Лучников вылезал из объятий, а именитый диссидент лихорадочно шарил у себя по карманам... Что же... Андрюша... да если бы знать... вот телефончик – 151-00-88... Тамара Федоровна такая... с сыном Витей... да если бы знал... сколько всего бы послал... но вот, хотя бы это... обязательно передай...

Обозреватель журнала «Экспресс», президент издательства «Трипл Найт», супруга министра заморских территорий, певец Кларк Пипл, писательница Мари Фетонье в некотором замешательстве наблюдали, как *guest of the honor* вынимает из своих карманов пачки чуин-гама и перекладывает их в карманы Лучникова. Обязательно, обязательно передай все это Тамаре Федоровне для Витеньки и скажи (баклажанный шепоток в ухо) только ее... всегда... всегда... жду... пусть подает... все устроится... понял, Андрюша?... а когда вернешься, найди меня...

Несколько вспышек. Кто допустил сюда папарацци? В разных углах зала легкая паника. Кто снимал? Кого снимали? Ни охотник, ни цель не обнаружены.

Лучников вышел во двор, мощный средневековым бесценным булыжником. Одна стена замкнутого четырехугольника сияла на все три этажа, в трех других лишь кое-где тлели огоньки сродни средневековым. В небе летела растрепанная тучка. Отличаются ли тучки нашего века от тучек XVI? Должно быть, отличаются – испарения-то иные... Бывал ли я в XVI веке? Пребывает ли он во мне? Что-то промелькнуло, некое воспарение души. Миг неуловим, он тут же превращается в дурацкое оцепенение.

Заскрипели открываемые по радио средневековые ворота, и во дворе, галдя, появилась вся кинобанда во главе с могучей фигурой Октопуса. Лучников отпрянул к темной стене, потом проскочил на улицу Святых Отцов. Где-то поблизости всхрапнул заводящийся мотор. Он сделал несколько шагов по узкому тротуару. Какая-то темная масса – моточудовище – пронеслась мимо. В сдержанном ее рычании мелькнуло два хлопка: мгновенное и сильное давление на виски, легкий звон, спереди и сзади выбиты из стены две кафельные плитки. Прохожий закричал от ужаса и спрятался в нише. Лучников выхватил свой пистолетик из потайного кармана, опустился на одно колено и прицелился. В ста метрах впереди на углу набережной автомобиль притормозил. Добропорядочно и солидно зажглись стоп-фары. Лучников положил пистолет в карман. Автомобиль медленно сворачивал за угол, как бы предлагая себя несущемуся мимо постоянному потоку машин.

Голова слегка кружилась. Ощущение, похожее на глубокий нырок под воду. Небольшая контузия. Трудно все же не попасть, если стреляешь в упор на узкой парижской улице. Пугали.

– Мосье, выходите! – крикнул он человеку, спрятавшемуся в нише. – Опасность миновала!

Скрипнула дверь, появилось бледное лицо.

– В вас стреляли, мосье? Вот так дела! Я вижу такие дела впервые. Просто как в кино!

– Такова жизнь, – ухмыльнулся Лучников. – Идешь себе по улице, вдруг – бух-бух – и вот результат: я вас еле слышу, мосье.

– Проклятые иностранцы, – такова была реакция напуганного парижанина.

Лучников согласился.

– Всецело на вашей стороне, мосье, хотя и сам сейчас имею несчастье относиться к этой категории. Однако у себя, в своей стране, я не являюсь иностранцем и, как и все прочие граждане, страдаю от этого сброда. Поменьше бы ездили, побольше бы сидели дома, в мире было бы гораздо спокойнее. Согласны, мосье?

Замки в «рено-сэнк» были открыты, и все подарочные упаковки распороты ножом. Подарки, однако, как будто в неприкосновенности. Быть может, рука у подонка не поднялась испортить дорогие вещи? Может быть, солидный человек, знающий цену деньгам. Так или иначе, но Таньке опять повезло.

Уехать с ней. Отнять наконец ее у десятиборца, жениться, уехать в Австралию или, еще лучше, в Новую Зеландию. Наплевать на все проклятые русские, островные и материковые проблемы. Писать беллетристику, устроить ферму, открыть отель... Что за огонь жжет нас неустанно? Далась мне Общая Судьба! Да не дурацкая ли вообще проблема? Да уж не подлая ли в самом деле? Все чаще слышится слово «предатель»... теперь уже и пулями из бесшумного оплевывают. Игнатьев-Игнатьев, конечно, горилла, пианист Слава – лабух, с него и взятки

гладки, но ведь и умные люди, и порядочные, и старые друзья уже смотрят косо... Идеология прет со всех сторон, а судьба народа, снова брошенного своей интеллигенцией, никого не волнует... С мерзостью в душе и с головной болью он проехал бульвар Сен-Жермен, где даже в этот час кишела толпа; уличный фигляр размахивал языками огня, ломались в суставах две пантомимистки.

Возле его отеля в маленьком кафе сидел на веранде один человек. При виде Лучникова он поднялся. Это был генерал барон фон Витте собственной персоной. Поднятый воротник тяжелого пальто и деформированная шляпа роднили его с клошарами.

– Я ни разу за последние годы не покидал своего арандисмана, – проговорил старик, выходя из кафе навстречу Лучникову. – После вашего ухода, Андрей Арсеньевич, настоящий шторм разыгрался в моей душе.

Лучников смотрел на генерала и совершенно неожиданно для себя находил, что он ему нравится. Мешки на лице, подрагивающие жилки, окурок толстой желтой сигареты «Бояр» в углу рта, пачка газет, торчащая из кармана обвисшего кашемирового пальто, – во всем этом теперь чувствовалось полное отсутствие фальши, истинная старость, не лишенная даже определенной отваги.

– Что ж, давайте пройдем в отель, – пригласил он старика.

По лицу фон Витте проплыла смутная улыбка.

– О нет, вряд ли это будет очень ловко, – сказал он. – Там, в холле, вас ждут...

– Меня? Ждут? – Лучников резко обернулся в сторону отеля. Сквозь стеклянную дверь виден был дремлющий ночной портье, кусок ковра, половина картины на стене, пустое кресло. Окна холла были задернуты шторами.

– Какие-то приятные персоны, – проговорил фон Витте. – Впрочем, Андрей Арсеньевич, мне и нет нужды заходить внутрь. Я просто хотел ответить на ваш вопрос, а это займет не более пяти минут.

Он вынул нового «боярина», закурил, на минуту задумался, как бы отвлекаясь в те отдаленные времена, когда его принимал Сталин. Лучников присел на капот «рено», нагретый, словно прибрежный камень где-нибудь на пляже в Греции. Он подумал о «приятных персонах». «Кто же эти приятные персоны, – устало, без страха, но и без отваги думал он. – Сразу начну стрелять, без разговоров». Он не удержался и зевнул.

– Сталин сказал мне тогда дословно следующее: «Наш народ ненавидит белогвардейское гнездо в Черном море, но пока не возражает против его существования. Нужно подождать каких-нибудь пятьдесят лет. Возвращайтесь в Париж, генерал, и боритесь за правое дело».

Передавая речь Сталина, фон Витте, конечно, не удержался от имитации грузинского акцента.

– Так я и думал, – сказал Лучников. – Вы меня не удивили. Неожиданность – только конкретность исторического срока. Пятьдесят лет, кажется, еще не истекли, а?

Фон Витте слабо улыбнулся своим воспоминаниям.

– Это был мой последний визит в Москву. В тот вечер я смотрел «Лебединое озеро» в Большом. Божественно!

– Спасибо, Витольд Яковлевич. – Крайним усилием воли Лучников изобразил понимание исторического значения этой минуты, крепко пожал большую мягкую генеральскую руку. – Простите нас за некоторые резкости, но поверьте... я весьма ценю... и я был уверен, что в конце концов... – Тут он иссяк.

Старик сломал свою сигарету и сразу же вынул новую.

– Вы были правы, Андрей Арсеньевич, – вдруг осипшим голосом проговорил он. – Я прожил жалкую и страшную, полностью недостойную жизнь...

Он отвернулся и медленно пошел через улицу. Дымок поднимался из-за левого плеча. Поднял трость и кликнул такси.

В холле «Савоя» в креслах зеленоватой кожи Лучникова ждали три красавицы из магазина «Сен-Лоран». Экая, понимаете ли, чуткость. Вот вам новый мир, новые отношения между людьми. Ты в старом стиле пошутишь, бросишь вскользь дурацкое приглашение, а потом удивляешься: воспринято всерьез. Пардон, но я не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой. Впрочем, что-то все-таки шевелится. Да-да, что-то ожило. Неожиданные резервы организма. Прошу, мадемуазель. Прошу, мадам. Позвольте заметить, что это платье на бретельках и мех вокруг лебединой шеи внушают мне гораздо больше оптимизма, чем ваш дневной костюм в стиле теоретика революции Антонио Грамши. Я очень польщена вашим вниманием, мосье Рюс, но я здесь не одна, как видите, с нами два этих дивных создания. Что и говорить, чудесная компания, трудно не радоваться такому обществу. Я надеюсь, всем нам хватит в моем номере и места, и радости...

В полосках света, проникавшего из-за жалюзи, копошились вокруг Лучникова на ковре какие-то чудные, ароматные, дрожащие и упругие. Руки его скользили по этим штучкам, пока правая не набрела вдруг на твердый пульсирующий столбик наподобие его собственного. А это, позвольте спросить, чей же петушок? Надеюсь, не ваш, мадам? О нет, это нашей милой Джульетты. Она, понимаете ли, корсиканка, что поделаешь. Так-так, ситуация проясняется. В нашем чудесном союзе мне выпала роль запала, и я это охотно сделаю. Прошу вас, мадам, оставьте ваших девочек, разумеется, и Джульетту с ее корсаром, на некоторое время в покое и разместитесь традиционным тропическим способом. Итак, вступаем в дельту Меконга. Благодарю вас, мадам. Это вам огромное спасибо, мосье Рюс, огромное, искреннее, самое душевное спасибо, наш любимый мосье Рюс, от меня и от моих девочек. Девочки, ко мне, благодарите джентльмена.

Засыпая, он долго еще чувствовал вокруг себя копошение, целование, причмокивание, всхлипывание, счастливый смешок, легонькое рычание. Благостный сон. Платон, самолет, закат цивилизации...

VI. Декадентщина

Шереметьевский аэропорт, готовясь к олимпийскому роскошеству, пока что превратился в настоящую толкучку. Построенный когда-то в расчете на семь рейсов в день, сейчас он принимал и отправлял, должно быть, не меньше сотни: никуда не денешься от «проклятых иностранцев».

Стоя в очереди к контрольно-пропускному пункту, Лучников, как всегда, наблюдал погранстражу. Вновь, как и в прошлый раз, ему показалось, что на бесстрастных лицах этих парней, среди которых почему-то всегда много было монголоидов, вместо прежней, едва запрятанной усмешки в адрес заграничного, то есть потенциально враждебного, человечества сейчас появилось что-то вроде растерянности.

Стоял ясный осенний день. Сияющий Марлен, сопровождаемый высоким чином таможни, отделил Лучникова от толпы. Чин унес документы. Через дорогу, за всей аэропортовской суетой, нежнейшим образом трепетала под ветром кучка березок. Чин принес документы, и они пошли к личной «Волге» Марлена. За ними на тележке катили два огромных лучниковских чемодана, купленных в самый последний момент в свободной торговой зоне аэропорта Ля Бурже. Ветер дул с северо-запада, гнал клочки испарений псковских и новгородских озер, в небе, казалось, присутствовал неслышный перезвон колокола свободы. «Советские люди твердо знают: там, где партия, там успех, там победа», – гласил огромный щит при выезде на шоссе. Изречение соседствовало с портретом своего автора, который выглядел в этот день под этим ветром в присутствии неслышного колокола довольно странно, как печенег, заблудившийся в дотатарской Руси. Стоял ясный осенний день. «Слава нашей родной Коммунистической партии!» Слева от шоссе одни на других стояли кубы какого-то НИИ или КБ, а справа в необозримых прозрачайших далях светился будто свежеемытый крест деревенской церкви. Через все шоссе, красными литерами по бетону: «Решения XXV съезда КПСС выполним!» Палисадники покосившихся деревенских усадеб, сохранившихся вдоль Ленинградского шоссе, – бузина, надломанные георгины, лужи и глинистое месиво между асфальтом и штакетником – солнце-то, видимо, только что проглянуло после обычной московской непогоды. «Народ и партия едины!» Горб моста, с верхней точки – два рукава Москвы-реки, крутой берег острова, огненно-рыжего, с пучком вечнозеленых сосен на макушке. «Пятилетке качества рабочую гарантию!» За бугром моста уже стояли неприступными твердынями кварталы жилмассивов, сверкали тысячи окон, незримый выюн новгородского неслышного колокола витал меж домов, соблазняя благами Ганзейского союза. С крыши на крышу шагали огненные буквы: «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи!»

Дальше пошло все гуще: «Мы придем к победе коммунистического труда!», «Планы партии – планы народа!», «Пятилетке качества четкий ритм!», «Слава великому советскому народу, народу-созидателю!», «Искусство принадлежит народу!», «Да здравствует верный помощник партии – Ленинский комсомол!», «Превратим Москву в образцовый коммунистический город!», «СССР – оплот мира во всем мире!», «Идеи Ленина вечны!», «Конституция СССР – основной закон нашей жизни!»... печенег, поднявший длань, печенег в очках над газетой, печенег, размножающийся с каждой минутой по мере движения к центру, все более уверенный, все менее потерянный, все более символизирующий все любимые им символы, все менее похожий на печенега, все более похожий на Большого Брата, крупнотоннажный, стабильный, единственно возможный... наконец, над площадью Белорусского вокзала возникло перед Лучниковым его любимое, встречу с которым он всегда предвкушал, то, что когда-то в первый приезд потрясло его неслыханным словосочетанием и недоступным смыслом, и то, что впоследствии стало едва ли не предметом ностальгии, печенежье изречение: «Газета – это

не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, она также и коллективный организатор!»

Фраза эта, развернутая над всей площадью, а по ночам загорающаяся неоновым огнем, была, по сути дела, не так уж и сложна, она была проста в своей мудрости, она просвещала многотысячные полчища невежд, полагающих, что газета – это всего лишь коллективный пропагандист, она вразумляла даже и тех, кто думал, что газета – это коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но недотягивал до конечной мудрости, она оповещала сонмы московских граждан и тучи гостей столицы, что газета – это также и коллективный организатор, она доходила до точки.

– Ну вот, кажется, сейчас ты наконец-то проникся, – улыбнулся Кузенков.

– Сейчас меня просто пробрало до костей, – кивнул Лучников.

Гостиница «Интурист». На крыльце группа французов, с любопытством наблюдающая пробегание странной толпы: интереснейшее явление этот русский народ, вроде бы белые, но абсолютно не европейцы. Злясь и громко разговаривая с Кузенковым, Лучников двигался прямо к насторожившимся швейцарам. Два засмурневших вохровца в галунах, почуяв русскую речь и предвкушая акцию власти, – улыбались и переглядывались. А вы куда... господа-товарищи? Увы, жертва вдруг обернулась хозяином: один из подозрительных русачков двумя пальцами предъявил с ума сойти какую книжечку – ЦК КПСС, а третьим пальцем показал себе за плечо – займитесь багажом нашего гостя. К тротуару уже пришвартовывалась машина сопровождения, и из нее моссоветовские молодчики выгружали фирменные сундуки. Второй же русачок, а именно тот, значитца, который гость, вообще потряс интуристовскую стражу – извлек, понимаете ли, из крокодиловой кожи бумажника хрусту с двуглавым орлом – 10 тичей! Крымец – догадались ветераны невидимого фронта. Этих они обожали: во-первых, по-нашему худо-бедно балакают, во-вторых, доллар-то нынче как блядь дрожит, а русский рубль штыком торчит.

– Шакалы, – сказал Лучников. – Где вы только берете таких говноедов?

– Не догадываешься где? – улыбнулся Кузенков.

Он все время улыбался, когда общался с Лучниковым, улыбочка персоны, владеющей превосходством, некоей основополагающей мудростью, постичь которую собеседнику не дано, как бы он, увы, не тщился. Это бесило Лучникова.

– Да что это ты, Марлен, все улыбаешься с таким превосходством? – взорвался он. – В чем это вы так превзошли? В экономике развал, в политике чушь несусветная, в идеологии тупость!

– Спокойно, Андрей, спокойно.

Они ехали в лифте на пятнадцатый этаж, и попутчики, западные немцы, удивленно на них посматривали.

– В магазинах у вас тухлятина, народ мрачный, а они, видите ли, так улыбаются снисходительно. Тоже мне мудрецы! – продолжал разоряться Лучников уже и на пятнадцатом этаже. – Перестань улыбаться! – гаркнул он. – Улыбайся за границей. Здесь ты не имеешь права улыбаться.

– Я улыбаюсь потому, что предвкушаю обед и добрую чарку водки, – сказал Кузенков. – А ты злишься, потому что с похмелья, Андрей.

Кузенков с улыбкой открыл перед ним двери люкса.

– Да на кой черт вы снимаете мне эти двухэтажные хоромы! – орал Лучников. – Я ведь вам не какой-нибудь африканский марксистский царек!

– Опять диссидентствуешь, Андрей? – улыбнулся Кузенков. – Как в Шереметьево вылезаешь, так и начинаешь диссидентствовать. А между прочим, тобой здесь довольны. Я имею в виду новый курс «Курьера».

Лучников оторопел:

– Довольны новым курсом «Курьера»? – Он задохнулся было от злости, но потом сообразил: да-да, и в самом деле, можно считать и новым курсом... после тех угроз... конечно, они могли подумать...

Стол в миллионерском апартаменте был уже накрыт, и все на нем было, чем Москва морочит головы важным гостям: и нежнейшая семга, и икра, и ветчина, и крабы, и водка в хрустале, и красное, любимое Лучниковым вино «Ахашени» в запыленных бутылках.

– Эту «кремлевку» мне за новый курс выписали? – ядовито осведомился Лучников.

Кузенков сел напротив и перестал улыбаться, и в этом теперь отчетливо читалось: ну хватит уж дурить и критиканствовать по дешевке. Лучников подумал, что и в самом деле хватит, перебрал, дурю, вкус изменяет.

Первая рюмка водки и впрямь тут же изменила настроение. Московский уют. Когда-то его поразило ощущение этого московского уюта. Казалось, каждую минуту ты должен здесь чувствовать бередящее внимание «чеки», ощущение зыбкости в обществе беззакония, и вдруг тебя охватывает спокойствие, некая тишина души, атмосфера московского уюта. Ну хорошо бы еще где-нибудь это случалось в арбатских переулках – там есть места, где в поле зрения не попадает ничего «совдеповского» и можно представить себе здесь на углу маленького кадетика Арсюшу, – но нет, даже вот и на этой пресловутой улице Горького, где за окном внизу на крыше видны каменные истуканы поздней сталинской декадентщины, представители братских трудящихся народов, даже вот и здесь после первой рюмки водки забываешь парижскую ночную трясучку и погружаешься в московский уют, похожий на почесыванье стареньким пальчиком по темечку – подремли, Арсюшенька, пожурчи, Андриюшенька.

Встряхнувшись, он цапнул трубку и набрал номер Татьяны. Подошел десятиборец. Проклятый бездельник, лежит весь день на тахте и поджидает Татьяну. Месиво крыш за окном. Пролетела новгородская тучка. Ну и намешали стилей! Алло, алло... наберите еще раз. Он повесил трубку и облегченно вздохнул – вот я и дома: все соединилось, водка и дым отчества – это мой дом – Россия, мой единственный дом.

– На Острове образован новый союз, – сказал он Кузенкову.

Марлен Михайлович приветливо кивнул другу: интересно, мол, очень интересно. Положил ему на тарелку семги, икры, крабов, подвинул салат.

– Союз Общей Судьбы, – сказал Лучников.

Марлен Михайлович обвел глазами стены суперлюкса и вопросительно склонил голову – не беспокоит? Лучников отмахнулся. В номер вкатили окованные по углам лучниковские кофры. На лицах мосссоветовских молодчиков светилось благодное почтение к «фирме».

– Мне скрывать нечего. В этом вся наша хитрость – ничего не скрывать.

– Ешь, Андрей. Извини, что я заказал обед сюда, но Вера сегодня заседает, – улыбнулся Кузенков. – Знаешь, такой стала общественной деятельницей...

Лучников взялся за еду, и некоторое время они почти не разговаривали, насыщались, чокались, тут и осетрина подоспела, жаренная по-московски, а потом и десерт, ну а к десерту Марлен Михайлович заговорил о Париже, о том, как он его любит, вспомнил даже стихи Эренбурга: «Прости, что жил я в том лесу. Что все я пережил и выжил. Что до могилы донесу Большие сумерки Парижа...», намекнул на какое-то свое романтическое переживание в этом городе, родном каждому русскому интеллигенту (если, конечно, ты меня, аппаратчика, все-таки причисляешь к таковым), и выразил некоторую зависть Андрею Арсеньевичу, как космополиту и бродяге, которому уж наверно есть что порассказать о Париже, а?

– Я не вполне тебя понимаю, Марлен, – холодно заговорил в ответ Лучников. – Ты КУРАТОР нашего островка, то есть никто более тебя в Москве не может быть более заинтересован в наших делах, а между тем сообщение о СОСе тебя как бы и не затронуло. Быть может, мне еще раз объяснить тебе, что со мной хитрить не нужно?

Кузенков вытер рот салфеткой и взялся за сигару.

– Прости, Андрей, это не хитрость, но лишь свойство характера. Я просто-напросто сдержанный человек, может быть, даже и тяжелодум. Конечно же, я думаю о СОСе. Если молчу, это вовсе не значит, что мне это неинтересно, не важно. Однако, ты уж прости меня, Андрей, еще более важным для меня – в свете будущего, конечно, – кажутся сомнения полковника Чернока.

Тут настала очередь Лучникова показывать аналогичные свойства характера, то есть попытаться скрыть изумление, более того, некоторое даже ошеломление, попытаться вынырнуть из того состояния, которое в боксе именуется словечком «поплыл». Марлен же Михайлович очень мягко, явно давая возможность собеседнику скоординироваться, пересказывал между тем вчерашнюю их беседу с Черноком в кафе «Селект» на бульваре Монпарнас.

– Понимаешь ли, Андрей, мы знаем полковника Чернока как самоотверженного русского патриота, знаем, что он предан СОСу не менее тебя самого, но вот ведь и он сомневается относительно перемены «миражей» на МиГи, задает вопрос: понадобятся ли Союзу в будущем такие летчики, как он, а стало быть, мы можем только себе представить, сколько вопросов подобного рода, сколько сомнений в душах тысяч и тысяч островитян, не столь цельных, не столь идейных, как Александр Чернок.

Лучников налил себе коньяку. Рука, поднимавшая бокал, еще слегка дрожала, но опустилась она на стол уже твердо – выплыл.

– Big Brother watches you everywhere, doesn't he? ¹ – усмехнулся он, глядя прямо в глаза Кузенкову.

В глазах куратора плавала улыбка уже не снисходительная, но по-прежнему мягкая, полная добра. Марлен Михайлович развел руками.

– Теперь ты можешь понять, какое значение здесь придают вашим идеям.

Лучников встал и подошел к окну. Уже начинало смеркаться. Силуэты братских трудящихся размывались на фоне крыш. Внизу над парфюмерным магазином, над «Российскими винами» и «Подарками» зажглись неоновые цветочки, некие завитушки в народном стиле. Со вкусом здесь по-прежнему было все в порядке.

– Значит, присматриваете? – тихо спросил он Кузенкова. – Подслушиваете? Попугиваете?

– Последнего не понял, – с неожиданной быстротой сказал Кузенков.

Лучников глянул через плечо. Кузенков стоял возле мерцающего телевизора, по которому катилась многоцветная мультипликация и откуда доносился детский писк.

– Разве не ваши ребята бабахнули? – усмехнулся Лучников.

– Был выстрел? – Марлен Кузенков преобразился, просто сжатая пружина.

– Два, – весело сказал Лучников. – В оба уха. – Он показал руками. – Туда и сюда. По твоей реакции вижу, что ты не в курсе.

– Немедленно наведу справки, – сказал Кузенков. – Однако почти на сто процентов уверен... если, конечно... ты сам... своим поведением...

– Сволочь, – любезно сказал Лучников. – Сволочь пайковая. Ты полагаешь, что я должен быть пайнойкой, когда за мной ходят по пятам ваши псы?!

– Ну знаешь! – вскричал Кузенков. – Как же можно так передергивать! Я имел в виду, что некоторые лица просто могли выйти из-под контроля, нарушить предписание... если это так, они понесут ответственность! Неужели ты не понимаешь, что... ну, впрочем, прости, я не все могу сказать... я уверен, что это волчесотенцы стреляли...

В номере люкс гостиницы «Интурист» воцарилось на некоторое время молчание. Лучников прошел в спальню, отщелкнул крышку кофра и достал подарки для всей кузенковской фамилии: «покет-мемо» для Марлена, часы «устрица» для Веры Павловны, кашемировые свитера для ребят. Пластинки для Дима Шебеко он решил передать лично в руки передовому

¹ Большой брат наблюдает за тобой повсюду, не так ли? (англ.)

музыканту, ибо это был уже другой мир, другая Москва, это был ЗДОРОВЫЙ мир. Так и подумалось – здоровый.

Он вышел в гостиную и положил перед Марленом Михайловичем подарки.

– Ради бога, прости, Марлен, я сорвался. В любом случае я знаю, что ты, лично ты, мой друг. Вот... я привез... кое-что тебе, Вере и ребятишкам. Неплохие вещи. Во всяком случае, таких нет здесь, – он не удержался от улыбки, – даже в двухсотой секции ГУМа.

– Какая трогательная осведомленность в деталях нашего снабжения, – сказал Кузенков.

Впервые за все время их знакомства Лучников видел Кузенкова оскорбленным. «Сволочь пайковая», «двухсотая секция», – должно быть, это были удары по незащищенным местам прогрессивного деятеля, нечто вроде тех оглушающих выстрелов в Париже. Легкая контузия.

– Во всяком случае спасибо. Вещи чудесные, подарки в твоём стиле, элегантно и дорого, подарки богача из высокоразвитого общества. Завтра Вера ждет тебя к обеду. Угостим своим спецснабжением. Утром к тебе придет переводчик или переводчица, с ней или с ним ты сможешь обсудить свою программу. Тебе, как всегда, будет оказано максимальное благоприствование, сейчас особенно. – Тут промелькнула капелька ядку-с. – Машина в твоём полном распоряжении. Сейчас я должен идти.

Говорил все это Марлен Михайлович спокойно и, как казалось Лучникову, слегка печально, надевал по ходу дела плащ и шляпу, укладывал в атташе-кейс подарки. Протянул руку. В глазах ум и печаль. Увы, как мала отдельная личность перед неумолимыми законами истории.

– У меня есть несколько пожеланий, Марлен, – сказал Лучников, приняв кузенковскую руку. – Если уж я такая персона грата... Во-первых, мне не нужен переводчик, переводчица же у меня здесь уже есть. Танька Лунина отлично переведет мне все, что нужно. Во-вторых, машина с шофером мне тоже не нужна, воспользуюсь услугами фирмы «Авис», дерзостно проникшей уже и в нашу, – он нажал на «нашу», – столицу.

В-третьих, я хотел бы совершить путешествие по маршруту Пенза – Тамбов – Саратов – Казань – Омск – БАМ, причем путешествие без сопровождающих лиц. Прошу этот вопрос провен-ти-ли-ровать, – еще один нажим. – И в-четвертых, прошу тебя не удивляться и отнестись к этому вполне серьезно: я хотел бы вместе с тобой посетить вашу масонскую ложу.

Они посмотрели друг другу в глаза и весело расхохотались. Кажется, все недомолвки, намеки и подбёбки были тут же забыты.

– Я тебя правильно понял? – сказал сквозь смех Кузенков. – Ты имеешь в виду...

– Да-да, – кивнул Лучников. – Финскую баню. Мне это необходимо. Не могу быть в стороне. Банный период социмперии. Рим. Декаданс. Ты понимаешь?

– Браво, Андрей! – Кузенков хлопнул его по плечу. – Все-таки я тобой восхищаюсь. Второго такого иностранца я не встречал.

– А вот тебе не браво, Марлен! – хохотал Лучников. – Я тобой сейчас не восхищаюсь. Сколько же раз нужно объяснять тебе, что я здесь вовсе не иностранец.

Они стукнули друг друга по плечам. Их шутливые дружеские отношения как бы восстановились.

Лучников проводил Кузенкова до лифта. Мягкий звонок, стрелка вниз. Лифт оказался пустым. Лучников вошел внутрь вслед за Кузенковым.

– На прощанье все-таки скажи мне, Марлен, – сказал он. – Есть ли ответ на вопрос полковника Чернока?

– Нет, – твердо сказал Марлен. – Вопросы никто не слышал, ответа нет.

Вечерняя улица Горького. Пешков-стрит. Проводив Кузенкова, Лучников медленно пошел вверх, к Телеграфу. Впереди за бугром на фоне золотого заката с крыши уцелевшего еще сытинского дома светилось голубым огнем слово «Труд». Транспорт разъезжался по всем пра-

вилам на фильтрующие стрелки. Огромный термометр скромно отражал температуру окружающей среды – просто-напросто +8 °С. Телеграф, экспонируя свой голубой шарик, по-прежнему дерзновенно утверждал, что Земля все-таки вертится, правда в окружении неких крабых клешней, то бишь колосьев пшеницы. Все было нормально и невероятно. На ступеньках Телеграфа и на барьерах возле сидели и стояли молодчики, среди которых по-прежнему много было южных партизан. Все они ждали приключений. Замечательно то, что все их получали. В этом городе, где столько уже лет вытравляется дух приключения, оно тем не менее живет, ползет по улицам, лепится к окнам, будоражит УВД Мосгорисполкома, ищет тех, кто его ждет, и всегда находит.

Лучников присел на барьер у Телеграфа возле подземного перехода и закурил. Окружающая фарца тут же почувствовала вирджинский дымок. Братцы, гляньте, вот так кент сидит! Что за съют на нем, не джинсовый, но такая фирма, что уссышься. Штатский стиль, традиционный штатский стиль, долбоеб ты недалекий. Который час, мистер? Откуда, браток, вза ар ю фром? Закурить не угостите? С девочкой познакомиться не хотите? Горле, горле? Грины есть? Что вообще есть? Да вы не из Крыма ли сами? Чуваки, товарищ из Крыма! А правда, что у вас там по-русски понимают?

Лучников смеялся, окруженный парнями, отдал им весь свой «Кэмел». Из-за плеч рослых москвичей все время выпрыгивал какой-то черный десантник. В глазах у него застыло отчаяние – невозможно пробиться к чужеземцу.

– Эй... друг! Эй, друг, послушай! – Он зывал к Лучникову, но его все время осаживали, пока он вдруг не повис на чьих-то плечах и не выпалил в беспредельной тоске: – Я все у тебя куплю! Все! Все!

Тут все ребята полегли от хохота, и Лучников смеялся вместе с ними. Никогда он не испытывал презрения к фарцовщикам, этим изгоям монолитного советского коллектива, напротив, полагал их чем-то вроде стихийных бунтарей против тоталитарности, быть может, не менее, а более отважными, чем западные юные протестанты.

– А вы, ребята, не знаете такого Дима Шебеко? – спросил он.

– Сингер? C_2H_5OH ? Кто же его не знает! – уважительно закивала фарца.

– Передайте ему, что Луч приехал, – с многозначительными модуляциями в голосе сказал он. – В «Интуристе» стою.

Фарца раскрыла рты да так и застыла в восхищении. Тайна, европейские большие дела. Луч приехал к Диму Шебеко. Дела-а!

Лучников похлопал смельчаков по плечам, выбрался из плотного кольца и стал подниматься по ступенькам Телеграфа.

Навстречу ему спускался Виталий Гангут. Вот так встреча! В первый же вечер в Москве на самой «плешке» встретить запечного таракана, домоседа-маразматика. Глаза между тем у таракана сверкали, и грива летела вдохновенно. Лучников слегка даже испугался – сто лет уже не видел Гангута в таком приподнятом настроении: вдруг под кайфом, вдруг начнет сейчас с привычной московской тупостью обвинять в предательстве идеалов юности, что называется, «права качать»? Раскрылись объятия:

– Андрюшка!

– Виталька!

Чудо из чудес – от Гангута пахло не водкой и не блевотиной, но одеколоном! Уж не «Фаберже» ли? Кажется, даже подмышки протирал.

– Андрюха, вот это да! Такой вечер, и ты передо мной как черт из табакерки. Все сразу!

– Что сразу, Виталик? С чем тебя еще поздравить?

– Да ты не представляешь, с кем я сейчас говорил! Ты просто не представляешь!

– С Эммой? С Милкой? С Викторией Павловной?

– Да пошли бы они в жопу, эти бабы! Благодарю покорно, не нуждаюсь! Никакой половой зависимости! Я с Осьминогом сейчас говорил! Вот, понимаешь ли, утром получаю международную телеграмму... нет, ты не представляешь... я лежу, башка болит, жить не хочется, и вдруг международная телеграмма!

Его просто била дрожь, когда он совал в руки Лучникову дар небес – «международную телеграмму». Текст послания поразил и Лучникова: «My friend Gangut call me as soon as possible Paris, Hotel Grison, telefon No... Octopus»².

Как же это сразу не связалось, что осьминог по-русски это и есть октопус. Вот так оперативность, выходит, хитренький Джек и в самом деле Гангута хочет...

Лучников посмотрел на Гангута. Тот вырвал у него из рук телеграмму, тщательно сложил ее и засунул в задний карман джинсов, должно быть самое надежное свое место. Ну что ты скажешь, а? Да-да, тот самый мощага-американец, с которым ты меня сам когда-то и познакомил... Помнишь, купались в запрещенном пруду в Архангельском? Хэлоуэй, вот именно. Мифологическая личность, ей-ей! Он стал колоссальным продюсером. Ну вот, вообрази: лежу я на своей проебанной тахте с международной телеграммой. Лежу весь день, пытаюсь звонить в Париж. Ни хера не получается. Как наберу международную службу, мой телефон тут же отключается на десять минут. Вот что делают падлы-товарищи, хер не просунешь за железный занавес. Ну, думаю, вы так, а мы так: тянусь сюда на ЦТ и прямо так, в глаза, просто-напросто заказываю: город Парижск, говорю, Парижской области, Французской Советской Социалистической Республики. Вообрази, соединяют. Вообрази, Осьминог у телефона. Ждал, говорит, твоего звонка, не слезал с кровати. Вообрази, Андрюша, сногшибательные предложения! Шпарит полным текстом – готовлю, мол, контракт. Суммы какие-то фантастические, все – фантастика... шпарим полным текстом...

– На каком языке? – спросил Лучников.

У Гангута рука как раз летела для вдохновенного внедрения в шевелюру и остановилась на полпути.

– А в самом деле, на каком языке шпарим? Я ведь по-аглицки-то через пень-колоду, а он по-русски не тянет. Да это не важно. Главное, что понимали друг друга. Главное – принципиальное согласие. Но это я по-аглицки сказал – ай эгри.

– Что же он собирается снимать? – осторожно спросил Лучников.

– Да что бы там ни было, любое говно. Надеюсь, не о проблемах ПТУ, не о БАМе, не о сибирском газе. Я на своей тахте, Луч, столько потенции накопил за эти годы, даже этого мерина могу трахнуть. – Он показал на конный памятник Юрию Долгорукому, мимо которого они в этот момент шествовали. – Знал, что не бесцельно валяюсь в своей вонь. Когда художник лежит на своей тахте, мир о нем думает. Видишь – вылежал!

– Ты думаешь, отпустит тебя Госкино? – спросил Лучников.

Гангут даже задохнулся от мгновенно налетевшей ярости.

– Эти трусы, лжецы, демагоги, взяточники, ханжи, дебилы, самодовольные мизерабли, подонки общества, стукачи, выbleядки сталинизма! – проорал он в состоянии какого-то полуразрыва, будто бы теряя сознание, потом осекся, набрал воздуха полные легкие и закончил почти мягко: – Буду я считаться с этим говном.

Они стояли в этот момент возле главного недействующего входа в историческое здание Моссовета, напротив бронзового Основателя. Милиционер поблизости с любопытством на них посматривал. Среди стабильных московских неоновых художеств Лучников вдруг заметил странно подвижное, огромное, на четыре этажа, слово «РЫБА». Одна лишь только престраннейшая эта РЫБА пульсировала, сжималась и распрямлялась меж неподвижных вывесок Пешков-стрита.

² Мой друг Гангут, позвони мне как можно скорее, Париж, отель «Гризон», телефон №... Октопус (англ.).

– Что ж... – проговорил он, – значит, и ты намылился, Виталий?

Гангут потащил вверх «молнию» куртки, вынул из одного кармана кепку, из другого – шарф.

– А ты никогда, Андрей, не задавал себе вопроса, почему ты можешь в любой день отправиться в Америку, Африку, в ту же Москву и почему я, твой сверстник, всю свою жизнь должен чувствовать себя здесь крепостным?

– Я задаю себе этот вопрос ежедневно, – сказал Лучников, – этот и множество других в таком же роде.

– Ну вот и отдай свой швейцарский паспорт, – пробурчал Гангут. – Замени его на красную кожаную паспортину. Тогда получишь ответ на все свои сложные вопросы.

– Какая мощная эта «Рыба», – сказал Лучников, показывая на вывеску. – Посмотри, как она сильно бьется среди московского торжественного спокойствия? Жаль, что раньше ее не замечал. Удивительная, великолепная, непобедимая «Рыба».

– Луч! – захохотал Гангут. – Вот таким я тебя люблю! Давай забудем на сегодняшний вечер, что нам по сорок пять лет, а? Согласен?

– Мне сегодня с утра тридцать, – сказал Лучников.

Гангут тогда расхлябанной походкой прошел мимо милиционера.

– Ваше благородие, пара красавиц здесь с утра не проходила?

Когда ехал сюда, казалось, что теперь уже одно здесь будет пепелище, мрак после очередной серии процессов и отъездов – всех вывели стражи Идеи, а оставшиеся только и делают, что дробят под водяру, перемывают кости своей зловещей Степаниде. Оказалось: странная бодрость. Пошло одно за другим: «чердачные балы», спектакли «домашних театров», концерты Дима Шебеко, Козлова, Зубова в каких-то НИИ, в клубах на окраинах, сборища нищих поэтов, группа «Метрополь», чай с философией на кухнях, чтение «самиздата», выставки в подвалах, слушание менестрелей...

Порой ему казалось, что это ради него, своего любимца Луча, старается московский «андеграунд» показать, что еще жив, но потом подумал: нет, хоть и тянут из последних жил, но так будут всегда тянуть – полю этому не быть пусту. Сидя рядом с Татьяной на каком-нибудь продавленном диване, за каким-нибудь очередным застольем, после выступления какого-нибудь нового гения, он оглядывал лица вокруг и удивлялся, откуда снова так много в столице наплодилось неидеальных граждан. Вроде бы все уже поразъехались... Вот еще недавно пели булатовское:

Все поразъехались давным-давно,
Даже у Эрнста в окне темно,
Лишь Юра Васильев и Боря Мессерер,
Вот кто остался теперь в Эс Эс Эр...

Вроде бы вся уже эта публика засела в парижских кафе, в Нью-Йорке и Тель-Авиве, но вот, оказывается, снова их целый «клоповник», таких тружеников, весьма непохожих на парад физкультурников перед Мавзолеем; и новые подросли, да и старых, на проверку, еще немало.

«Декаданс в нашей стране неистребим» – так высказался однажды после концерта в «Студии экспериментального балета» в красном уголке общежития треста «Мосстрой» один из танцоров, юный Антиной в спецовке фирмы «Wrangler». Так он не без гордости сказал иностранцу Лучникову. В гримуборной навалены были кучей пальто. Все пили чай и гнуснейшее румынское шампанское.

Из груды реквизита тут вылезла самая незаметная персона, режиссер спектакля, полуседой клочковатый Гарик Поль, которого раньше знали лишь как пьянчугу из ВТО, а тут вот оказалось, что тайлся в нем гений танца и мыслитель. Боднув головой прокуренный воздух и

престраннейшим образом разведя руками на манер пингвина, Гарик Поль вступил в полемику с юным Антиносом.

«РУССКИЙ КУРЬЕР»

Полемика о декадансе (перепечатка с пленки)

...Декаданс для меня – это моя жизнь, мое искусство...

...Прости меня, но то, что ты считаешь декадансом, то, чем мы занимаемся, на самом деле здоровое искусство, то есть живое...

...Однако же не реалистическое же наше искусство ведь же...

...Прости меня, но тут происходит полная подмена понятий, то, что называется «с больной головы на здоровую». Декаданс, мой друг, это культурная деморализация, потеря нравственных качеств, вырождение, омертвление, эстетический сифилис, а все это относится к соц-реализму, с твоего разрешения...

...Разве видим мы эти черты в живом, вечно взбудораженном искусстве модернизма, авангардизма, в кружении его сперматозоидов? Социалистический окаменевший реализм – это и есть настоящая декадентщина...

...Однако же это переворачивает же все наши понятия же, ведь мы привыкли же всегда считать себя декадентами, то есть как бы представителями заката, а с другой стороны, видеть как бы рассвет, хоть он нам и гадок до рвоты, но искусство же нового же общества, а мы как бы держимся же за старое, уходящее же общество, которое как бы от нездоровья чурается народности, передовых идей, социального содержания, революционного призыва же... вот встают физкультурники волнами от Камчатки до Бреста, а ведь мы похмелем мучаемся.

...Прости меня, но тут и в социальном плане все перевернуто. Мое глубокое убеждение, что здоровье человечества заключено в либерализме, а революция – это вырождение; насилие и кровь – суть полная невозможность найти новые пути, увидеть новые виды, но лишь возврат к мрачности, к древнему распаду... ригидность мышц, обывательство мозга...

...Прости меня, но вся эстетика революционных обществ с ее боязнью (всяких) перемен, всего нового, с повторяемыми из года в год мрачными пропагандистскими празднествами в недвижных складках знамен, в этих волнах физкультурников, в осатанело бесконечной повторяемости, в самой оцепеневшей величавой позе этого общества – это эстетика вырождения, сродни поздневизантийской застылости, окаменевшей позолоченной парче, под которой слежавшаяся грязь, вонь, вши и распад...

...Прости меня, но это вовсе не примета только сегодняшнего дня, вовсе не закат революции, это началось все с самого начала, ибо и сама революция – это не рассвет, но закат, шаг назад к древнему мраку, к раздувшейся от крови величавости, и то, что когда-то принималось за «коренную ломку старого быта», – это было как раз дегенерацией, упрочением древнейшего способа отношений, то есть насилия, нападением величественного загнивающего чудища на горизонты и луга либерализма, то есть нового человечества, на наш танец, на нашу музыку и божественную подвижность человеческих существ...

...Однако я не могу расстаться со словом «декаданс», я люблю его.

...Прости меня, можешь не расставаться, но имей в виду другой смысл слов...

Параллельно шла и другая московская жизнь, в которой он оставался редактором «Курьера», могущественной фигурой международного журнализма. У них был здесь солидный корреспондентский пункт на Кутузовском проспекте, чуть ли не целый этаж, и даже зал для коктейлей. Из трех крымских сотрудников один был, без сомнения, агентом «чеки», другой цээршником, однако старшему «кору» Вадиму Беклемишеву можно было доверять полностью – одноклассник, такой же, как Чернок или Сабашников.

И Беклемишев, и Лучников полагали «Курьер» как бы московской газетой и потому в разговорах между собой величали корпункт филиалом. Кроме трех крымцев, здесь трудилось

полдюжины молодых московских журналистов, получавших зарплату наполовину в «красных», наполовину в «русских» рублях, то есть в тичах. Эти шестеро, три веселых парня и три миловидных девицы, сидели в большом светлом офисе, тарахтели свободно на трех языках, предпочитая, впрочем, английский, курили и пили бесконечный свой кофе, стряпали лихие материалы из жизни московских celebrities, заменяя отсутствующие в СССР газеты светских новостей. Все они считали работу в «Курьере» неслыханной синекурой, обожали Крым и боготворили «босса» Андрея Лучникова, просто подпрыгивали от счастья, когда он входил в офис. Глядя на подвижные их веселые лица, Лучников не мог себе представить их агентами «чеки», а между тем, без всякого сомнения, все они были таковыми. Так или иначе, они работают на меня, думал Лучников, работают на газету, на Идею, делают то, что я хочу, то, чего мы хотим, а секретов у нас нет, пусть стучат, если иначе у них нельзя.

В один из дней пребывания в Москве своего издателя корпункт «Курьера» устроил «завтрак с шампанским». Скрамнейшее угощение: горячие калачи с черной икрой и непревзойденный брют из подвалов кн. Голицына в Новом Свете. Среди приглашенных были крупные дипломаты и, конечно, директор Станции Культурных Связей Восточного Средиземноморья, то есть посол Крыма в Москве Борис Теодорович Врангель, внучатый племянник того самого «черного барона», «покрасневший», однако, к этому дню до такой степени, что его не без оснований подозревали в принадлежности к одной из пяти крымских компартий. В дипкорпус Крыма, в эту одну из формально несуществующих организаций, то есть во все эти «миссии связи, наблюдательные пункты и комиссии», коммунисты не допускались конституционным запретом, но так как конституция была временной, то на нее и смотрели сквозь пальцы, только груздем не называйся, а в кузов полезай. Понаехало на завтрак и множество деятелей культуры, среди которых немало было друзей по прежним безобразиям. Из официальных лиц бюрократии самым внушительным пока было лицо «куратора» Марлена Михайловича Кузенкова. Ждали, однако, и некую неведомую пока персону, упорные ходили слухи, что непременно кто-то явится чуть ли не с самого верха. Начался, однако, уже второй час странного современного действия, но персона не являлась, хотя по проспекту под окнами прокатывались милицейские «мерседесы». По некоторым предположениям – «готовили трассу». На все приемы в корпункте «Курьера» по списку, составленному лично шефом, приглашались десятка полтора московских красоток, нечленов, недеятелей, непредставителей, по большей части бедных полублядушек, девочек – увы – уже не первой свежести, дамочек с чудными знаками увядания. Где-то они еще позировали, фотографировались, демонстрировали модели Славы Зайцева, переходили из постели в постель и наконец ловили фортуна – замуж за иностранца! Здесь на приемах «Курьера» им отводилась роль передвигающихся букетов. Развязные молодчики Беклемишева даже согласовывали с ними по телефону цвета туалетов. Красотки, впрочем, не обижались, а радовались, что хоть кому-то нужны.

Татьяна Лунина, на сей раз в твидовой деловой тройке с улицы Сент-Оноре, изображала при помощи суженного взгляда эдакую щучку-сучку, зорко следила за перемещениями в толпе своего Андрея. Роль, которую она тут играла, приятно щекотала самолюбие: вроде бы никто, вроде бы случайный гость ни к селу ни к городу, но в то же время почти все знают, что она здесь ой-ой как не случайна, что она здесь вот именно первая дама и что за костюм на ней, из чьих рук получен. Ситуация пьянящая, и «щучку» играть интересно... Как вдруг во время разговора с бразильским дипломатом она поймала на себе внимательнейший, анализирующий взгляд некой незнакомой персоны. Вдруг ее под этим взглядом пронзило ощущение зыбкости, неустойчивости, полнейшей необоснованности ее сегодняшней вот такой уверенной и приятной позиции... близость непредсказуемых перемен. Лучникова кто-то отвлек, мужа кто-то заслонил, малознакомая персона надела задымленные очки, «латинский любовник» из Бразилии с удивлением обнаружил рядом с собой вместо международной курвы растерянную русскую провинциалочку.

Тут как раз началось суетливое движение – прибыли, прибыли! Кто прибыл? Не кто иной, как товарищ Протопопов! Такой чести никто даже и не ждал. Наиболее, пожалуй, энергетическая личность в компании усталых его коллег. Невероятное оживление в зале – что бы это могло означать? Вошли телохранители и быстро смешались с толпой. Борис Теодорович Врангель в партийном рвении, не хуже любого секретаря обкома, ринулся навстречу гостю. У Протопопова был маленький, гордо поднятый в классовом самосознании подбородочек.

Врангелю, как своему по партийной иерархической этике, ткнул, не глядя, руку, зато шефа «Курьера», как представителя временно независимых «прогрессивных кругов планеты», облагодетельствовал улыбкой и значительным рукопожатием.

– Вот, удалось вырвать десяток минуточек, – любовь к уменьшительным жила, оказывается, и на московском Олимпе, – очень много сейчас работы в связи с надвигающимися... – чем? чем? что надвигается? легкий ступор в толпе – надвигающимся юбилеем... – отлегло – каким юбилеем? – не важно, дело обычное – юбилейное, – однако решил засвидетельствовать... газету вашу читаю... не все в ней, уж извините, равноценно... однако в последнее время... да-да, читаю не без интереса... – пауза, улыбка, понимай, как знаешь, – мы всегда приветствовали развитие прогрессивной мысли в... – да неужели же произнесет слово «Крым», неужели что-то сдвинулось? – в Восточном Средиземноморье... – нет, ничего не сдвинулось, нет? ничего не сдвинулось? может быть, все-таки чуточку хоть что-то? Подано шампанское – прозрачайший, драгоценный «Новый Свет», цвета предзакатного неба. Товарищ Протопопов сделал глоток и щелкнул языком – оценил! По слухам, ОНИ ТАМ если уж и пьют что-то, то лишь это. От предложенного калача с икрой отказался с мягким юмористическим ужасом – слежу, дескать, за фигурой. Нет-нет, что-то все-таки сдвинулось: такая человечность!

– Мечтаем о том дне, Тимофей Лукич, когда наша газета будет продаваться в Москве рядом с «Известиями» и «Вечеркой», – громко сказал Лучников.

Замерли все. Даже «букетики» застыли в красивых позах. Лишь «волкодавы» из охраны продолжали свое дело – бесшумную зрительную инспекцию. Товарищ Протопопов сделал еще глоток. Чудесная возможность – комплимент «Новому Свету», и дерзость Лучникова отлетает в анналы политических бестактностей. Все ждут. Пощелкивают исторические мгновения.

– Это зависит от... – товарищ Протопопов улыбается, – от взаимности, господин Лучников... – Поднимается накат сдержанно-возбужденного шепота. – Я ведь сказал, что не все в вашей газете равноценно, не так ли?... – Так, так, вот именно так и было сказано, за руку товарища Протопопова не поймаешь. – Так вот, в дальнейшем все, конечно, будет зависеть от взаимопонимания... – «букетики» просияли, чувствуя всеобщую нарастающую экзальтацию, – планета у нас одна... море у нас одно, товарищи... много у нас общего, друзья... – все тут разом улыбнулись общей, открытой улыбкой, – но много и разного, господа... – улыбка погасла – не вечно же ей сиять, – итак, я поднимаю бокал за взаимопонимание!..

Крепчайшее рукопожатие временно независимым силам планеты; строгий одобряющий взгляд Врангелю, и, не торопясь, понимая и заботы охраны, подготавливающей путь, и сохраняя, естественно, классовую солидность, товарищ Протопопов отбыл.

После отбытия за бродячим завтраком воцарилась мертвая зыбь. Официальные гости быстро перешептывались между собой. Полуофициальные и неофициальные писатели (а среди приглашенных были и такие, едва ли не подзаборные представители русской творческой мысли) хихикали между собой. Кто из них предполагал, что вблизи увидит один из портретиков? Такое возможно только в «Курьере», ребята, нет-нет, в самом деле мы живем во времена чудес. Дипломаты, загадочно улыбаясь, заговорили тут же о балете, о спорте, о русском шампанском, постепенно начали подтягиваться к выходу – такая работа. Журналисты собрались вокруг Лучникова, делали вид, что заняты светской болтовней, а на самом деле поглядывали на него, ждали statement.

– Господа! – сказал Лучников. – Формула взаимности, предложенная Тимофеем Лукичом Протопоповым, редакцию газеты «Курьер» вполне устраивает.

ЮПИ, АП, Рейтер, РТА, Франс Пресс, АНСА и прочие, включая трех японцев, чиркнули в блокнотах новомодными «монбланами» в стиле ретро. Завтрак заканчивался.

– Что же ты, Андрей, так унижаешься, смотреть на тебя противно, – сказал на прощание Гангут, – причислил-таки себя к прогрессивному человечеству.

– Скоро ли на Остров возвращаетесь, Андрей Арсеньевич? – спросил на прощание международный обозреватель из «Правды» и хмыкнул, не дожидаясь ответа, дескать, «пора, пора».

– Как в целом? – спросил на прощание Лучников Кузенкова.

Тот только улыбнулся на прощание; улыбка была ободряющей.

– Почему вы никогда не позвоните, Андрюша? – спросил на прощание один из «букетиков». – Позвонили бы, посидели бы, поболтали бы, вспомнили бы былое.

Зал очень быстро пустел, а за окном начинался морозящий дождь. Удручающий день тлел в конце Кутузовского проспекта. Неловкость, вздор, полная никчемность и бессмысленность общего дела, общей идеи, общей судьбы, всякой деятельности, всякой активности, глухая тоска и постыдность терзали Лучникова, в молчании стоящего у окна. Пустые бутылки и ошметки еды, обгрызенный калач со следом губной помады, будто менструальный мазок, – вот результаты бессмысленного завтрака с шампанским. Бежать в Новую Зеландию. Тут голос Татьяны достиг его слуха:

– Пока, Андрей!

Он вздрогнул, отвернулся от окна. Впервые мысль о ферме и Новой Зеландии не соединилась у него с Таней, и это его испугало.

Зал был почти уже пуст. Лишь в дальнем углу в кресле вызывающе хохотал напившийся все же один «букетик» (кажется, Лора, бывшая танцовка мюзик-холла), да возле нее трое каких-то молодчиков деловито обсуждали вопрос – кто возьмет на себя джентльменские обязанности по доставке «букетика» в более подходящую диспозицию.

Таня стояла в дверях. Десятиборец держал ее под руку. Она смотрела на него растеряннo, и поза какая-то была неловкая и скованная. Могла бы, конечно, уйти не прощаясь, но вот – напоминаю о себе. Ничего больше – только лишь напоминание. Конечно, она почувствовала, что он начисто забыл про нее. Чутье у Татьяны Луниной было сверхъестественное.

Десятиборец вежливо, полудипломатически, полутоварищески, улыбался. Лучников подумал, что из этого красавца-атлета настойчиво уже выпирает кто-то другой – очень молодой и не очень здоровый человек. Может быть, иллюзия эта возникла из-за излишней его быковатости, быковатости явно преувеличенной нынешней ответственностью как представителя советских спортивных организаций.

«Неужели не знает он о наших отношениях?» – подумалось тут Лучникову.

– Хотите, Андрей, поедem к нам чай пить, – сказала Татьяна.

Десятиборец с застывшей улыбкой повернул к ней монументальное лицо, явно не сразу до него дошел смысл приглашения. Редактора буржуазной газеты – к чаю?

– Чай? К вам? – растерялся слегка и Лучников.

– Почему бы нет? У нас отличный есть английский чай. Посидим по-домашнему. – Неожиданный для нее самой дерзостный ход на глазах переменял Татьяну. Лучников увидел ту, которая поразила его десять лет назад, – лихую московскую девку, которая может и как шлюха дать где-нибудь в ванной, а может и влюбить в себя на всю жизнь.

– Ах, как это мило с вашей стороны, – забормотал он. – Как это кстати. Мне что-то, знаете ли, тошно как-то стало...

– Ну вот и поедemте чай пить... – прямо вся светясь, сказала Татьяна.

– На меня, знаете ли, всегда растерзанные столы тоску наводят, – проговорил Лучников.

– Знаю, знаю, – сказала ему Татьяна беззвучным шевелением губ.

– Пожалуйста, пожалуйста. На чай, пожалуйста, – наконец высказался десятиборец. «Ты что, рехнулась?» – взглядом спросил он жену. «Катись!» – ответила она ему тем же путем.

У Лучникова в арендованном «жигуленке» всегда лежали на всякий случай несколько «фирменных» бутылок и блоков сигарет. Все это он сейчас свалил на столик в прихожей Татьянинной квартиры. Свалил и, услышав из глубины квартиры детские голоса, ужаснулся: о детях-то он забыл – ни жвачки, ни кока-колы, ни автомобильчиков «горджи» с собой нет. Он почему-то никогда не думал о Татьянинных детях, и она сама никогда не говорила с ним ни о двенадцатилетней Милке, ни о десятилетнем Саше.

Дети пришли познакомиться с иностранцем. Милка – нимфеточка, другой и не могла быть дочь Татьяны. А вот Саша... Арсюша, Андрюша, Антоша и Саша – вдруг выстроилась в голове Лучникова такая схема. Он испугался. Лобастый стройненький мальчик, кажется, грустный. Как раз десять лет назад мы с Танькой и встретились. Тогда я уволок ее с какой-то пьянки и без всяких церемоний... Да неужели? Глаза серые, и у меня серые, но и у десятиборца серые. Челюсть крепкая, и у меня крепкая, а у десятиборца-то просто утюг. В полной растерянности Лучников подарил Саше свой «Монблан» с золотым пером. В проеме кухонной двери появилась Татьяна.

– Ну как, уже познакомились? – Звонкая бодрая спортсменочка.

Лучников глазами спросил ее о Саше. Она комически развела руками и одновременно пожалала плечами и так застыла с обезьяньей греховной мордочкой. Это было очень смешно, и все засмеялись – и Лучников, и дети, а Танька еще попрыгала, потанцевала на месте: елочка-дешевочка.

Десятиборец отошел к так называемому «бару» и вернулся с двумя бутылками французского коньяка, – дескать, мы тоже не лыком шиты.

Тут такая уж пошла фальшивка! Десятиборец сел за полированным столом напротив Лучникова и налил хрустальные рюмки – всем располагаем: и коньяк, и хрусталь, – вроде он именно к нему пришел, этот любопытный иностранец; мужчина же – значит, к мужчине.

– Ну, со свиданьем, – сказал он. – Татьяна, выпьешь?

– Сейчас! – донеслось из кухни.

– А вы где работаете? – спросил Лучников.

– Как где? – удивился десятиборец.

– Ну, вы работаете, вообще-то, где-нибудь или... или «фриланс»?

– Как вы сказали? – напрягся десятиборец.

– Внештатно! – перевела из кухни Татьяна.

– Ну, я, вообще-то, заместитель начальника главка, – сказал десятиборец. – Главное управление спортивных единоборств.

Лучников засмеялся – шутка ему понравилась. Видимо, парень все же не так уж и туп.

– А что вы смеетесь, Андрей? – спросила, входя с подносом, Татьяна.

– Понравилась шутка вашего мужа. Главное управление спортивных единоборств – это звучит!

– Что же тут смешного? – удивился Суп.

– Такой главк и в самом деле есть в нашем комитете, – сказала Таня. – Все нормально. Главк как главк. Главное управление спортивных единоборств...

Лучников чувствовал себя пристыженным всякий раз, когда советская явь поворачивалась к нему еще каким-нибудь своим непознанным боком. Все же как ни сливайся с ней, до конца не постигнешь.

– Юмор все-таки существует: он в том... – сказал он, стараясь на Татьяну не глядеть, – что вы работаете в главке единоборств, а сами-то десятиборец.

– Так что? – спросил муж.

Татьяна расхохоталась. Она уже успела махнуть большую рюмку коньяку.

– А мне как-то и в голову раньше не приходило, – сказала она. – В самом деле смешно. Десятиборец в единоборстве.

Хохот был несколько тревожащего свойства.

– Насчет десятиборья, так у нас прежних заслуг не забывают, – сказал муж. – Вот гляньте! Вот мои этапы. Восемь лет в первой десятке держался...

Кубки и бронзовые фигуры венчали югославский сервант. Лучникова немного раздражала заурядность квартирного стиля – все-таки дом Татьяны представлялся ему в воображении (если когда-нибудь представлялся) каким-то иным. Пошла вторая рюмка. Про чай и думать забыли.

– Вот поэтому я так отлично сейчас трудоустроен, – пояснил муж. – Вы понимаете?

Лучников посмотрел на Татьяну – как, дескать, себя вести? – но она как будто и не думала ему подсказывать, хохотала, наслаждалась ситуацией.

– Понимаете, о чем я говорю? – Десятиборец настойчиво пялил на Лучникова глаза над своей четвертой рюмкой.

– Понимаю.

– Ни черта вы не понимаете. У вас там спортсменов сразу забывают, наглухо, а у нас постоянная забота. Это понятно?

– Понятно.

– Что-то не замечаю, что вам понятно. По лицу такого не определяется.

– Ой, умру. – Татьяна заваливалась за спинку стула. – Андрюша, сделай умное лицо.

– Напрасно смеешься. – Десятиборец взял жену за плечико. – У них одно, у нас другое. Вон товарищ тебе подтвердит без всякой пропаганды.

– У нас, конечно, не то, не так масштабно, – подтверждал Лучников, искоса поглядывая на Сашу, который сидел на тахте, поджав ногу. – У нас там Комитета по спорту вовсе нет. Все пущено на самотек. Многие виды изрядно хромают.

– Вот! – вскричал десятиборец, глядя в лицо своей жене, которая в этот момент, надув укоризненно губки, кивала чужеземцу – как, мол, вам не ай-яй-яй.

– Что и требовалось доказать! – Четвертая рюмка ухнулась в бездонные глубины. – А теперь ты еще скажи, что советские спортсмены – профессионалы!

– Никогда этого не скажу. – Лучников решительно открестился от такого приглашения.

– А ты скажи, скажи, – напирал Суп. – Думаешь, не знаем, что ответить?

– Он недавно на семинаре был по контрпропаганде, – любезно пояснила Татьяна.

Милочка в куртке и шапке с сумкой через плечо прошла через комнату к выходу и сердито там хлопнула дверь – ей, видимо, не нравилась бурно развивающаяся родительская пьянка.

– Фи-гу-рист-ка, – запоздало показал ей вслед слегка уже неверным пальцем десятиборец. – Сколько на вашей белогвардейщине искусственных катков?

– Три, – сказал Лучников.

– А у нас сто три!

Саша вытащил ногу из-под попки и направился в прихожую. «Моя походка, – подумал Лучников, – или его?» Гордо неся гордый лучниковский нос, Саша закрыл за собой дверь плотно и решительно. Явно дети здесь в оппозиции к коньячным беседам родителей.

– Хоккей, – кивнул ему вслед папа Суп. – Большое будущее!

– Ну вот мы и одни, – почти бессмысленно захохотала Татьяна.

– Так почему же ты не отвечаешь на мой вопрос? – Десятиборец придвинул свой стул ближе к Лучникову и снова налил рюмки. – Ну! Профессионалы мы или любители?

– Ни то ни другое, – сказал Лучников.

– То есть?

– Спортсмены в СССР – государственные служащие, – сказал Лучников.

Шестая рюмка повисла в воздухе. Челюсть у десятиборца отвалилась. Таня зашлась от восторга.

– Андрюшка, bravo! Суп! Ты готов! Сейчас лягушку проглотишь! К такому повороту их на семинаре не подготовили!

Она раскачалась на стуле и влепила Лучникову поцелуй в щеку. Стул из-под нее вылетел, но она не упала (атлетические реакции!), а перелетела на колени к Лучникову и влепила ему еще один поцелуй, уже в губы.

– Ты, однако, Татьяна... – пробормотал десятиборец. – Все же невежливо, между прочим... чужого человека в губы...

– Да он же нам не чужой, – смеялась Таня и щекотала Лучникова. – Он нам идеологически чужой, а по крови свой. Русский же.

– В самом деле русский? – удивился супруг.

Лучников чрезвычайно вдруг удивился, обнаружив себя в зеркале стоящим с открытым гневным лицом и с рукой, в собственническом жесте возложенной на плечи Татьяны.

– Да я в сто раз более русский, чем вы, товарищ Суп! Мы от Рюриковичей род ведем!..

– Рюриковичи... белорусы... – хмыкнул десятиборец. – Дело не в этом. Главное, чтобы внутренне был честный, чтобы ты был не реакционный! Ходи за мной!

Железной лапой он взял Лучникова за плечо. Таня, не переставая смеяться, нажала клавишу музыкальной системы. В квартире зазвучала «Баллада о Джоне и Йоко». Под эти звуки троика проследовала в темную спальню, где словно гигантская надгробная плита светилось под уличным фонарем супружеское ложе.

– Мне хочется домой в огромность квартиры, наводящей грусть, – вдруг нормальным человеческим тоном произнес десятиборец.

Лучников ушам своим не поверил.

– Что? Что? Ушам своим не верю.

– Суп у нас любитель поэзии, – сказала Таня. – Суп, это чье ты сейчас прочел?

– Борис Мандельштам, – сказал десятиборец.

– Видишь! – Ликуя, подпрыгивала уже на супружеском ложе Татьяна. – У него даже тетрадка есть с изречениями и стихами. Не хала-бала! Интеллигенция!

– Смотри сюда! – угрожающе сказал десятиборец. – Вот они и здесь – этапы большого пути. Места не хватает.

Вдоль всей стены на полке под уличным фонарем светились статуэтки и кубки.

– Почему ты зовешь его Суп? – спросил Андрей. – Почему ты так метко его назвала?

– Это сокращение от супружник, – хихикнула Татьяна.

– А почему ты ее зовешь на «ты», а меня на «вы»? – вдруг взревел десятиборец. – Подчеркиваешь превосходство?

Он махнул огромной своей ручищей – крюк по воздуху.

– Что же ты впустую машешь? – сказал Лучников. – Бей мне в грудь!

– Ха-ха, – сказал Суп. – Вот это по-нашему, по-товарищески. Без дворянских подъебок.

– Вот оно, спортивное единоборство двух систем! – смеялась Таня, сидя на супружеском ложе.

В комнате, освещенной только уличным фонарем, она показалась сейчас Лучникову настоящей падлой, сучкой, ждущей, какому кобелю достанется. Скотское желание продрало его до костей, как ошеломляющий мороз.

– Ну, бей, Суп! – тихо сказал он, принимая тайваньскую стойку.

Началась драка в лучших традициях. Лучников перехватывал отлично поставленные удары десятиборца и швырял его на кровать. Тот явно не понимал, что с ним происходит, однако по-спортивному оценивал ловкость партнера и даже восхищенно кричал.

– Прекрати, Андрей, – вдруг сказала Таня трезвым голосом. – Прекрати это свинство.

– Пардон, почему это я должен прекратить? – сказал Лучников. – Я не толстовец. На меня нападают, я защищаюсь, вот и все. Приемы до конца не довожу. Суп твой цел, и посуда цела...

Вдруг у него взорвалась голова, и в следующий момент он очнулся, сидя на полу, в осколках, в облаке коньячных паров. Лицо было залито какой-то жидкостью.

– Жив? – долетел с супружеского ложа голос десятиборца.

Значит, швырнул ему бутылку «Курвуазье» прямо в лицо. В рыло. В хавальник. В харю. В будку. Как они здесь еще называют человеческое лицо?

– Таня, – позвал Лучников.

Она молчала.

Он понял, что побит, и с трудом, цепляясь за предметы, за стулья и стеллажи, стал подниматься.

– Поздравляю, – сказал он. – Я побит. Честный поединок кончился в твою пользу, Суп.

– Теперь катись отсюда, – сказал Суп. – Выкатывайся. Сейчас я буду женщину свою любить.

Таня лежала лицом в подушку. Лучников в темном зеркале видел правую половину своего лица, залитую кровью.

– Женщина со мной уйдет, – сказал он. – У меня разбита голова, а у женщин сильно развит инстинкт жалости.

Таня не двигалась.

– Я так рад, что не убил тебя, – сказал Суп. – Не хватало только редактора «Курьера» убить. По головке бы за это не погладили.

– Таня! – позвал Лучников.

Она не двигалась.

– Послушай, уходи по-человечески, – сказал Суп. – Мы пятнадцать лет с Танькой живем в законном браке.

– Татьяна, пойдем со мной! – крикнул Лучников. – Неужели ты не пойдешь сейчас?

– Слушай, белый, если ты где-нибудь трахнул Таньку, не воображай, что она твоя, – мирно сказал Суп. – Она моя. Иди, белый, иди добром. У тебя, в Крыму, герлы табунами ходят, а у меня она – одна.

– Таня, скажи ему, что ты моя, – попросил Лучников. – Да встань же ты, хоть вытри мне лицо. Оно разбито.

Она не шевелилась.

Десятиборец склонился над ней и просунул ладонь ей под живот, кажется, растянул там пуговицу. Фигура его казалась сейчас немыслимо огромной над тоненькой женщиной.

– А ты не подумал, Суп, что я тоже могу тебя хватить чем-нибудь по башке? – спросил Лучников. – Каким-нибудь твоим спортивным трофеем? Вот, скажем, Никой этой Самофракийской.

Десятиборец хрипло засмеялся:

– Это было бы уже потерей темпа.

– Да, ты прав, – сказал Лучников. – Ты не так прост, как кажешься. Ну что ж, валяй. Еби мою любовь.

– Хочешь смотреть? – пробормотал Суп. – Хочешь присутствовать? Пожалуйста, пожалуйста...

Танины плечи вздрогнули, и голова оторвалась от подушки.

– Таня! – тихо позвал Лучников. – Очнись!

– Сейчас ты увидишь... сейчас... сейчас... – бормотал, нависая над женщиной, огромный мужик. – Сейчас ты увидишь, как мы с ней... как у нас... бей, чем хочешь... не растащишь... у меня в жизни ничего нет, кроме нее... все из меня Родина выжала, высосала... только Таньку оставила... я без нее ноль...

– Уходи, Андрей, – незнакомым голосом сказала Татьяна.

Он долго стоял возле огромного жилого дома и чувствовал, как быстро распухает у него правая половина лица. Полнейшая бессмысленность. Звон в голове. Умопомрачительная боль. На пятнадцати этажах жилого гиганта в каждой квартире, в темноте и при свете Суп на законных основаниях ебал его незаконную любовь. Мою любовь, освещенную крымским лунным сиянием. Вот моя родина и вот мое счастье – Остров Крым посреди волн свободы. Мы никогда не сольемся с вами, законопослушные, многомиллионные, северная унылая русская сволочь. Мы не русские по идеологии, мы не коммунисты по национальности, мы яки-островитяне, у нас своя судьба, наша судьба – карнавал свободы, мы сильнее вас, каким бы толстым стеклом вы, суки, ни бросали нам в голову!

Пошел снег.

Сентябрь, когда во всем мире, во всей Европе люди сидят под каштанами и слушают музыку, а в Ялте нимфы с еле прикрытыми срамными губками вылезают из волн прямо на набережную... Безнадежный, промозглый и слепой российский сентябрь... пропади все пропадом вместе с пропавшей любовью... Такси, такси!

Забывший у подножия жилого гиганта интуристовский «жигуленок» с брошенным на спинку кресла английским двухсторонним регланом.

Через три дня Татьяну Лунину пригласили в Первый отдел. И обязательно, пожалуйста, с супругом. А супруга-то зачем? Ну, не будем же мы с вами по телефону уточнять, Татьяна Никитична. Разговор очень важный и для вас, и для вашего уважаемого супруга.

Она не удивилась, увидев в кабинете начальника отдела того типа, что гипнотизировал ее на приеме в «Курьере»: бородка, задымленные очки – вервольф последней модели. Обаятельный мужчина! Он даже снял очки, когдазнакомился, продемонстрировал Татьяне чистоту и честность своих глаз, никаких ухмылок, никаких околичностей – перед вами друг. Начальник, старый сталинист соответствующей наружности, представил гостя: товарищ Сергеев, обозреватель агентства новостей, он будет присутствовать при нашей беседе.

Таня глянула на своего благоверного. Суп сидел по стойке «смирно», выпирая ослепительно-белой грудью и манжетами из тесноватого блейзера. Он так волновался, что даже как-то помолодел, что-то мальчишеское, затравленное выглядывало из огромного тела. Она всегда поражалась, какими беспомощными пупсиками оказываются советские супермены, метатели, борцы, боксеры, перед всеми этими хмырями-первоотдельцами и вот такими «обозревателями». Она обозлилась.

– А я, между прочим, никаких интервью для агентства новостей давать не собираюсь!

– Татьяна Никитична... – с мирной дружеской улыбкой начал было товарищ Сергеев.

Она его оборвала:

– А вы, между прочим, по какому праву меня гипнотизировали давеча на приеме «Курьера»? Тоже мне Штирлиц! Психологическое давление, что ли, демонстрировали?

– Просто смотрел на красивую женщину. – Товарищ Сергеев чуть-чуть откинулся на стуле и как бы вновь слегка полюбовался Татьяной.

– Между прочим, многим рисковали! – выкрикнула она, рванула сумочку, вытащила сигарету.

Два кулака с язычками газового огня тут же протянулись к ней.

– Таня, Таня, – еле слышно пробормотал Суп. Он сидел не двигаясь, будто боялся при малейшем движении лопнуть.

– Напрасно вы так разволновались, – сказал товарищ Сергеев. – У нас к вам дружеский вопрос о...

– О господине Лучникове! – угрожающим баском завершил фразу начальник отдела.

Тут по стародавней традиции таких дружеских бесед должно было наступить ошеломление, размягчение и капитуляция. Увы, традиции не сработали – Татьяна еще больше обозлилась.

– А если о нем, так тем более с обозревателями новостей говорить не буду! Явились тут, тоже мне, обозреватели! Нет уж! Обозревайте кого-нибудь...

– Перестань, Лунина! – Начальник отдела шлепнул здоровенной ладонью по письменному столу. – Ты что, не понимаешь? Перестань дурака валять!

– Это вы перестаньте дурака валять! – крикнула она и даже встала. – Обозреватели! Если хотите беседовать, так перестаньте темнить! Это мое право, знать, с кем я беседую!

– Да ты, Татьяна, говоришь как настоящая диссидентка! – возмущенно, но по-отечески загудел начальник, в далеком прошлом один из пастухов клуба ВВС, спортивной конюшни Васьки Сталина. – Где ж это ты поднабралась таких идей? Права! Смотри, Татьяна!

Татьяна видела, что товарищ Сергеев пребывает в некотором замешательстве. Это ее развеселило. Она спокойно села в кресло и посмотрела на него уже как хозяин положения. Ну? Товарищ Сергеев, поморщившись, предъявил соответствующую книжечку.

– Я полагал, Татьяна Никитична, что мы свои люди и можем не называть некоторые вещи в лоб. Если же вы хотите иначе... – Он многозначительно повел глазами в сторону Супа.

Тот сидел, полузакрыв глаза, на полуиздыхании.

– Давайте, давайте, – сказала Таня. – Если уж так пошло, то только в лоб. По затылку – это предательство.

– Позвольте выразить восхищение, – сказал товарищ Сергеев.

– Не нуждаюсь, – огрызнулась она.

Любопытно, что в книжечке именно эта фамилия и значилась – Сергеев, но вместо слова «обозреватель» прописано было «полковник».

– Up to you, – вздохнул полковник Сергеев.

– Как вы сказали, товарищ полковник? – Татьяна широко открыла глаза, дескать, не ослышалась ли. Ей показалось в этот момент, что она и в самом деле имеет некоторую бабскую власть над полковником Сергеевым, а потом она подумала, что чувствовала это с самого начала, очень интуитивно и глубоко, и, быть может, именно это, только сейчас распознанное ощущение и позволило ей говорить с такой немислимой дерзостью.

– Я сказал: как хотите, – улыбнулся полковник. – Многолетняя привычка, от нее трудно избавиться.

Ей показалось, что он вроде бы даже слегка как бы благодарен ей за вопрос, заданный с лукавой женской интонацией. Вопросец этот дал ему возможность прозрачно намекнуть на свое законспирированное зарубежное, то есть романтическое с его точки зрения, прошлое и показать даме, что он далеко не всегда занимался внутренним сыском.

Затем он начал излагать суть дела. Начнем с того, что он испытывает полное уважение к Андрею Лучникову и как к одному из крупнейших мировых журналистов, и как к человеку. Да, у него есть определенное право называть этого человека просто по имени. Но это лишь к слову, да-да, так-так... Короче говоря, в ответственных организациях нашей страны придают Лучникову большое значение. Мы... давайте я для простоты буду говорить «мы»... мы понимаем, что в определенной исторической ситуации такая фигура, как Лучников, может сыграть решающую роль. История сплошь и рядом опровергает вздор наших теоретиков о нулевой роли личности. Так вот... так вот, Татьяна Никитична, у нас есть существенные основания опасаться за Андрея Арсеньевича. Во-первых, всякий, изучавший его биографию, может легко увидеть, как извилист его политический путь, как подвижна его психологическая структура. Давайте напрямик – мы опасаемся, что в какой-то весьма ответственный момент Лучников может пойти на совершенно непредвиденный вольт, проявить то, что можно было бы назвать рефлексиями творческой натуры, и внести некий абсурд в историческую ситуацию. В этой

связи нам, разумеется, хотелось бы, чтобы с Лучниковым всегда находился преданный, умный и, как я сегодня убедился, смелый и гордый друг... Он снова тут зорко и быстро глянул на Супа и потом вопросительно и доверительно – совсем уж свои! – на Татьяну. Та не моргнула и глазом, сидела каменная и враждебная. Пришлось «обозревателю» двинуться дальше.

– Однако то, что я сказал, всего лишь преамбула, Татьяна Никитична. В конце концов, главная наша забота – это сам Андрей Арсеньевич, его личная безопасность. Дело в том, что... дело в том, что... понимаете ли, Татьяна... – Глубокое человеческое волнение поглотило пустую формальность отчества, товарищ Сергеев встал и быстро прошелся по кабинету, как бы стараясь взять себя в руки. – Дело в том, что на Лучникова готовится покушение. Реакционные силы в Крыму... – Он снова осекся и остановился в углу кабинета, снова с немым вопросом глядя на Таню.

– Да знаю-знаю, – сказала она с непонятной самой себе небрежностью.

– Что все это значит? – вдруг проговорил десятиборец и в первый раз обвел всех присутствующих осмысленным взглядом.

– Может быть, вы сами объясните супругу ситуацию? – осторожно спросил товарищ Сергеев.

– А зачем вы его сюда пригласили? – Губы у Тани растягивались в кривую улыбку.

– Чтобы поставить все точки над «i», – хмуро и басовито высказался заводделом.

– Ну хорошо. – Она повернулась к мужу. – Ты же знал прекрасно: Лучников уже много лет мой любовник.

Суп на нее даже и не взглянул.

– Что все это значит? – повторил он свой непростой вопрос.

Непосредственное начальство молчало, что-то перекатывая во рту, разминая складки лица и чертя карандашом по бумаге бесконечную криптограмму бюросоциализма: ему что-то явно не нравилось в этой ситуации, то ли тон беседы, то ли само ее содержание.

Сергеев еще раз прошелся по кабинету. Тане подумалось, что все здесь развивается в темпе многосерийного телефильма. Неторопливый проход в интерьере спецкабинета и резкий поворот в дальнем углу. Монолог из дальнего угла.

– Из этого вытекает, братцы, необходимость определенных действий. Поверьте уж мне, что я не чудовище какое-нибудь, не государственная машина... – Сергеев снова закурил, явно волновался, почему-то помахал зажигалкой, словно это была спичка. – Впрочем, можете и не верить, – усмехнулся не без горечи. – Чем я это докажу? Так или иначе, давайте вместе думать. Вы, Глеб, ведь были нашим кумиром, – улыбнулся он Супу. – Когда вы впервые перешагнули за восемь тысяч очков, это для нас всех был праздник. Вы – гигант, Глеб, честное слово, вы для меня какой-то идеал славянской или, если хотите, варяжской мужественности. Я потому и попросил вас прийти вместе с Таней, потому что преклоняюсь перед вами, потому что считаю недостойной всякую игру за вашей спиной, потому что надеюсь на ваше мужество и понимание ситуации, ну а если мы не найдем общего языка, если вы меня пошлете сейчас подальше, я и это пойму, поверьте, я только сам себя почувствую в говне, поверьте, мне только и останется, что развести руками.

Что делать? Проклятая история только и делает, что заставляет нас руками разводить... – Он вдруг смял горящую сигарету в кулаке и не поморщился, тут же вытащил и закурил другую. – Вздор... дичь... как все поворачивается по-идиотски... ей-ей, нам бы лучше с вами за коньячком посидеть или... или... – Сергеев глубоко вздохнул, кажется, набрался решимости. – Короче говоря, у нас считают, что в интересах государственных дел чрезвычайной важности было бы полезно, если бы Татьяна Никитична Лунина стала женой Андрея Арсеньевича Лучникова, законной супругой или другом, это на ваше усмотрение, но обязательно его неотлучным спутником.

Монолог закончился, и в кабинете воцарилась странная атмосфера какой-то расплывчатости, произошла как бы утечка кислорода, во всяком случае, произведено было несколько странных движений: начспец, например, встал и открыл окно, хотя, разумеется, уличный шум только лишь мешал запрятым его магнитофонам, тов. Сергеев выпил сразу два стакана шипучки, причем второй пил явно с каким-то отвращением, но допил до конца, Татьяна для чего-то открыла сумку и стала в ней как бы что-то искать, на самом же деле просто перебирала пузырьки, коробочки, деньги и ключи. Суп почему-то заглянул к ней в сумочку, а потом стянул с шеи галстук и намотал его себе на левый кулак...

– Мне еще поручено вам сообщить следующее, – вроде бы совсем через силу проговорил товарищ Сергеев. – В любом случае, какое бы решение вы ни приняли, Татьяна Никитична и Глеб, это нисколько не отразится на ваших делах, на служебном положении или там на этих... ну... – явно не без нотки презрения, – ну, на этих поездках за рубеж – словом, никакой неприязни у нас к вам не возникнет. Это мне поручено вам передать, а мне лично поручено быть чем-то вроде гаранта... – Он снова как бы оборвал фразу, как бы не справившись с эмоциями, впрочем наблюдательный собеседник, безусловно, заметил бы, что эмоциональные эти обрывы происходили всякий раз, когда все уже было сказано.

В Тане этот наблюдатель проснулся задним числом к вечеру этого дня, когда старалась вспомнить все детали, сейчас она ничего не замечала, а только лишь смотрела на Глеба, который свободно и мощно прогуливался по кабинету, с некоторой даже небрежностью помахивая сорванным галстуком. Она вспомнила их первую встречу, когда он просто поразил ее мощью, молодостью и свободой движений. Он тренировался в секторе прыжков с шестом, а она отбавывала вираж на двухсотметровке и всякий раз, пробегая мимо, наклоняла голову, как бы не замечая юного гиганта, как бы поглощенная виражом и взмахами своих чудных летящих конечностей, пока он наконец не бросил свой шест и не побежал с ней рядом, хохоча и заглядывая ей в лицо. Впервые за долгие годы вспомнился этот вечер в Лужниках. Немудрено – впервые за долгие годы в движениях одутловатого Супа промелькнул прежний победоносный Глеб. В любовных делах тот юноша был далек от рекордов, то ли весь выкладывался в десяти своих видах, то ли опыта не хватало, но она ни на кого, кроме него, тогда не смотрела, сама еще недостаточно «раскошегарилась», восхищалась им безудержно, и, когда они шли рядом, сдержанно сияя друг на друга, все вокруг останавливались – ну и пара! – и это был полный «отпад».

Он промелькнул на миг, тот юноша, будто бы готовый к бою, рожденный победителем, и исчез, и снова посреди кабинета нелепо набычился ее нынешний домашний Суп, сокрушительная секс-дробилка, одутловатый пьянчуга, трусоватый спортивный чиновник, беспомощный и родной.

Набычившись, он постоял с минуту посреди кабинета, переводя взгляд с начспеца на товарища Сергеева, а жену свою как бы не видя, выронил из кулака галстук, тяжело ступая, вышел из кабинета, неуклюжий и потный.

– Я согласна, – сказала Таня товарищу Сергееву.

Старый сталинист суженными глазами демонстрировал презрение – стратегия, мол, стратегией, а белогвардейская, мол, койка для советской дивчины все равно – помойка.

Сергеев строго кивнул, сел напротив и протянул Тане руку. Та весело помахала ладошкой перед его носом. Если уж сука, то сука – пусть видят, какая она веселая, наглая и циничная сучка. Веселая и наглая – ну и баба, мол, перешагивает через трупы, вот ценный кадр.

– Поздравляю, – сказала она Сергееву.

– С чем? – спросил он.

– С успешным началом операции. Для полного успеха не хватает теперь только одной детали – самого Лучникова. Ну, подавайте мне его, и я тут же ринусь в бой.

– Разве вы не знаете, где сейчас Андрей? – осторожно спросил Сергеев.

– Уже три дня ни слуху ни духу, – сказала Татьяна. – А вы, Сергеев, выходит, тоже не знаете?

Сергеев улыбнулся с привычной тонкостью «мы все знаем», но было совершенно очевидно, что растерян.

– Ай-яй-яй, – покачала головой Татьяна. – Прокололись, кажется?

Тут вдруг нервы у разведчика сдали, он даже сделал неопределенное движение к телефону.

– Я вас прошу, Татьяна, вы мне голову не морочьте, – очень жестким на этот раз тоном заговорил он. – Вы не можете не знать, где находится ваш любовник. Вы встречаетесь с ним ежедневно. Хотите, я назову все ваши адреса, хотите, я...

– Снимочки, что ли, покажете? – усмехнулась она. – Выходит, все-таки халтурите, Сергеев, если не знаете, где уже три дня ошивается редактор «Курьера»...

– Машина его возле вашего дома уже три дня, – быстро сказал Сергеев.

– А самого-то в ней нет, – засмеялась Татьяна.

– Номер в «Интуристе» он не сдал.

– Но и не появляется там.

– Беклемишеву дважды звонил.

– Откуда? – истерически завопила Татьяна.

Сорвалась. Вскочила и выдала обоим типам по первое число. Они ее утешали, Сергеев даже руки грел – теперь ведь уже своя, вот только подпись надо здесь поставить... Начспец наливал в стаканчик виски, вновь – после подписки – преисполнился отеческими чувствами. А сам Сергеев внутренне немыслимо трепетал – что теперь будет? Найдем, найдем, конечно же найдем, где угодно найдем, но как же это произошло такое невероятное – на три дня упустили из виду!!!

Это был то ли Волгоградский проспект, то ли шоссе Энтузиастов, то ли Севастопольский бульвар, то ли Профсоюзная – нечто широченное, с одинаковыми домами по обе стороны, в красной окантовке огромных лозунгов, с агитационными клумбами, увенчанными могучими символами, склепанными и сваренными хоть и наспех, но из нержавеющей металла – серп, молот, звезда с пятью лучами, ракетами и с гигантскими лицами Ильичей, взирающими из самых неожиданных мест на трех бредущих в пятом часу утра по этой магистрали похмельных персон.

Лучников обнимал за зябкие плечики Лору Лерову, одну из тех увядающих «букетиков», что украшали недавний праздник «Курьера». Десяток лет назад – звезда Москвы, манекенщица Министерства легкой промышленности, поочередная любовница дюжины гениев, сейчас явно выходила в тираж. Все на ней было еще самое последнее, широкое, парижское, лиловатое, но приходило это лиловатое к ней уже не от бескорыстных московских гениев, а от каких-то сомнительных музыкантов, подозрительных художников, короче говоря, от молодчиков фарцы и сыска, а потому и носило какой-то отпечаток сомнительности.

Она плакала, клонясь к лучниковской груди, чуть заваливаясь, ее била похмельная дрожь – еще более явный признак заката. Раньше после ночи греха Лора Лерова только бойко подмывалась, подмазывалась, подтягивалась и с ходу устремлялась к новым боям. Сейчас душа ее явно алкала какого-нибудь пойла, пусть даже гнусного, портвейного.

– У меня уже все уехали, – плакала она, размазывая свою парфюмерию по небритым щекам Лучникова. – Ирка в Париже, у нее там «бутик»... Алка за богатого бразильца вышла замуж... Ленка у Теда Лапидуса работает в Нью-Йорке... Вера и та в Лондоне, хоть и скромная машинисточка, но счастлива, посвятила свою жизнь Льву, а ведь он больше любил меня, и я... ты знаешь, Андрей... я могла бы посвятить ему свою жизнь, если бы не тот проклятый серб... Все, все, все уехали... Лев, Оскар, Эрнест, Юра, Дима – все, все... все мои мальчишки... не поверишь, просто иногда некому позвонить... в слякоти мерзкой сию в Москве... никто меня

уже и на Пицунду не приглашает... только жулье заезжает на пистон... все уехали, все уехали, все уехали...

Лучников сжимал ее плечики и иногда вытирал мокрое опухшее лицо бывшей красавицы носовым платком, который потом комкал и совал в карман болтающегося пиджака. За три дня московского свинства он так похудел, что пиджак болтался теперь на нем, словно на вешалке. Жалость к заблудшим московским душам, от которых он и себя не отделял, терзала его. Он очень нравился себе таким – худым и исполненным жалости.

Дружище его Виталий Гангут, напротив, как-то весь опух, округлился, налился мрачной презрительной спесью. Он, видимо, не нравился себе в таком состоянии, а потому ему не нравился и весь мир.

На предрассветном социалистическом проспекте не видно было ни души, только пощелкивали бесчисленные флаги, флажки и флажища.

– Не плачь, Лорка, – говорил Лучников. – Мы тебя скоро замуж отдадим за богача, за итальянского коммуниста. Я тебе шмоток пришлю целый ящик.

Гангут шел на несколько шагов впереди, подняв воротник и нахлобучив на уши «федору», выражая спиной полное презрение и к страдальце, и к утешителю.

– Ах, Андрюша, возьми меня на Остров, – заплакала еще пуще Лора. – Мне страшно. Я боюсь Америки и Франции! На Острове хотя бы русские живут. Возьми бедную пьянчужку на Остров, я там вылечусь и блядовать не буду...

– Возьму, возьму, – утешал ее Лучников. – Ты – наша жертва, Лорка. Мы из тебя всю твою красоту высосали, но мы тебя на помойку не выбросим, мы тебя...

– Ты лучше спроси у нее, сколько она башлей из Вахтанга Чарквиани высосала, – сказал Гангут, не оборачиваясь. – Жертва! Сколько генов она сама высосала из нашего поколения!

– Скот! – вскричала Лора.

– Скот, – подтвердил Лучников. – Витася – скот, ему никого не жалко. Распущенный и наглый киногоений. Пусть гниет в своем Голливуде, а мы будем друг друга жалеть и спасать.

– А ты Остров свой скоро товарищам подаришь, ублюдок, – ворчал Гангут. – Квислинг, дерьмо, идите вы все в жопу...

Вдруг он остановился и показал на небольшую группу людей, стоящих в очереди перед закрытой дверью. Несколько стариков и старух в черных костюмах и платьях, увешанные орденами и медалями от ключиц до живота.

– Ну что тебе? – спросил, предполагая очередной антипатриотический подвох, Лучников.

– Ты, кажется, Россию любишь? – спросил Гангут. – Ты, кажется, большой знаток нашей страны? Ты вроде бы даже и сам русский, а? Ты просто такой же советский, как мы, да? Тогда отгадай, что это за очередь, творец Общей Судьбы!

– Мало ли за чем очередь, – пробормотал Лучников. – Многого не хватает. Может, за фруктами, может быть, запись на ковры...

– Знаток! – торжествующе захохотал Гангут. – Это очередь в избирательный участок. Товарищи пришли сюда за два часа до открытия, чтобы первыми отдать голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. Сегодня у нас выборы в Верховный Совет!

Старики в орденах, до этого мирно беседовавшие у монументальных колонн Дворца культуры, теперь враждебно смотрели на трех иностранцев, на двух мерзавцев и одну проститутку, на тех, кто мешает нам жить.

– Это бабушки и дедушки из нашего дома, – сказала Лора. – Они все герои первых пятилеток.

– Для меня это просто находка, – сказал Лучников. – Сейчас я возьму у них интервью.

– Рискуешь попасть в милицию, – сказал Гангут.

– Журналист должен рисковать, – кивнул Лучников. – Такая профессия. Я рисковал и во Вьетнаме, и в Ливане. Рискну и здесь.

– А я тебя не оставлю, Андрей, – сказала Лора. – В кои-то веки и голос свой отдам.

– Мы, кажется, опохмелиться собирались, – сказал Гангут, который был уже не рад, что заварил эту кашу.

– Ты назвал меня Квислингом, – сказал Лучников, – а сам ты трус и дезертир. Иди и опохмеляйся среди своей любимой буржуазии, иди в говенный свой ОВИР, а мы опохмелимся здесь, в избирательном участке.

Он обнял за талию свой увядающий «букетик» и повел ее на подламывающих каблучках к бдительным созидателям первых пятилеток.

В дальнейшем все развивалось по сценарию Гангута. Лучников собирал интервью. Лора интересовалась, не припрятал ли кто-нибудь из старичков в кармане чекушку, и предлагала за нее бриллиантовое кольцо. Она плакала и норовила встать на колени, чтобы отблагодарить этим странным движением творцов всего того, что их в этот миг окружало, – плакатов, стендов, диаграмм и скульптур, Лучников пытался выяснить, чего больше заложено в старых энтузиастах – палача или жертвы, и сам, конечно, распространялся о своем неизлечимом комплексе вины перед замороженным населением исторической родины. Гангут пытался остановить такси, чтобы всем им вовремя смыться, но не забывал, однако, и выявлять рабскую природу старческого энтузиазма, а заодно и высмеивать выборы без выбора. Наряд из штаба боевых комсомольских дружин, вызванный одним из стариков, прибыл вовремя. Дежурили в эту ночь самые отборные дружинники, дети дипломатов, студенты Института международных отношений в джинсовых костюмах. Они применили к провокаторам серию хорошо отработанных приемов, скрутили им руки, швырнули на дно «рафика» и сели на них мускулистыми задами.

В последний момент Лора, однако, была спасена – старушка-лифтерша, первая доброволка Комсомольска-на-Амуре, объявила ее своей племянницей. Этот факт позволил Андрею Лучникову думать о том, что народ все же сохранил «душу живую». Об этом он думал всю дорогу до штаба, в то время, когда один из студентов-международников, которому он все же успел всадить в ребро тайваньский приветик, постанывая, бил его в живот крепким каблучком импортного ботинка.

В штабе БКД посредине кабинета с портретом Дзержинского обоих провокаторов посадили на стулья, а руки им связали шпагатом за спинками стульев. Тот, с тайваньским синяком под ребрами, плевал себе на ладонь, подносил плевков ко рту Лучникова и предлагал этот плевков слизать. Слизнешь плевков, морально разоружишься, получишь снисхождение. Не слизнешь, пеняй на себя. В конце концов Лучников изловчился и коленкой вывел из игры подтянутого, чистенького и старательного международника. После этого уже и ноги ему привязали шпагатом к стулу.

Между тем полковник Сергеев проводил вторую бессонную ночь подряд. Разумеется, и всему своему сектору, двум подполковникам, трем майорам и четырем капитанам, он тоже спать не давал. С тех пор как выяснилось исчезновение главного объекта, на который весь сектор и работал, ради которого, собственно говоря, он и был создан, полковник Сергеев стал посматривать на своих сотрудников особым глазом, подозревая всех в халтуре. Ходил по трем кабинетам сектора, внезапно распахивая двери, – наверняка, негодяи, разглядывают крымскую порнографию! Надо умудриться – упустить в Москве из виду такого человека, как Лучников. Это надо умудриться!

Однажды поймал на себе скрещивающиеся взгляды – старого зама и самого молодого пома – и вдруг понял, что и он сам под тем же подозрением – исхалтурился, мол, Сергеев, размяк в Москве.

Между прочим, и верно, самокритично думал он о себе, за десять лет заграничного подполья привык к капитализму, отвык от родины, весело, энергично шуровали, бывало, и за ширмами, и под полом, и вот сейчас вхожу волей-неволей в колею, восстанавливаю связи по

продовольственным заказам, по каналам дефицита, билеты в модные театры, книги, прочая мура... ловишь себя все время на подлом отечественном афоризме – «работа не волк...». А ведь работа-то почти саперная: раз ошибся – разнесет, яйца не поймаешь!

Все эти дни оперативные группы сектора прочесывали Москву по всем лучниковским возможным явкам, подключались к телефонам, под машины подсовывали подслушивающие «сардины», вели и прямое наблюдение за рядом лиц. Все безрезультатно. Попутно выяснилось, что функционирует только половина «сардин». Причина – явное воровство: мальчишки из секретной лаборатории растаскивают дорогостоящие импортные узлы.

Короче говоря, положение было критическое. Генерал, шеф отдела, почти уже отпадал в панике, но наверх пока не сообщал. Там, однако, что-то уже почувствовали, какую-то странную активность «лучниковского» сектора, позвонил напрямую референт и поинтересовался – все ли ОК с объектом ОК? Сергееву удалось тогда запудрить референту мозги подробным рассказом о плодотворной встрече с Луниной, но вот сейчас, после второй бессонной ночи, прихлебывая из термоса отвратительный кофий, шупая свое несвежее лицо и с отвращением озирая лица сотрудников, стены кабинета и даже портреты на стенах, он понимал, что приближается еще один звонок референта и на этот раз придется уже выкладывать всю правду – проглядели, потеряли в своей собственной столице редактора крупнейшей международной газеты, неустойчивого либерала, ненадежного друга, историческую личность, попросту говоря, неплохого человека.

Произошло, однако, еще более страшное, чем звонок референта. Как раз в тот час, когда Гангута и Лучникова отвязали от стульев и повели на допрос к начальнику штаба комсомольской дружины, в этот именно момент к Сергееву позвонил не референт какой-никакой, позвонили через площадь, из самого большого дома. Позвонил не кто иной, как сам Марлен Михайлович Кузенков, поинтересовался, где пребывает в данный момент Андрей Арсеньевич Лучников. Оказалось, что вечером этого дня Кузенкову вместе с Лучниковым назначено строго приватное свидание в одной из самых тайных саун, с персоной, которая и названа-то быть не может. Все. Пиздец. Фулл краш, товарищ Сергеев.

При обыске у одного из двух провокаторов, пытавшихся сорвать народное волеизъявление, был отобран пропуск на киностудию «Мосфильм» и одиннадцать рублей денег. У второго в бумажнике была обнаружена огромная сумма иностранной валюты в долларах и тичах, визитки иностранных журналистов и записная книжка с телефонами Симферополя, Нью-Йорка, Парижа и другого зарубежья. Потрясенный такой находкой, начальник штаба выскочил из кабинета то ли для того, чтобы с кем-нибудь посоветоваться, то ли просто чтобы дух перевести.

Руки у «провокаторов» были сейчас развязаны, в метре от них на столе стоял телефон, в дверях дежурил всего один комсомолец.

– Ну, позвони своему Марлену, – сказал хмуро Гангут. – Хватит уж...

– Да ни за что на свете не буду звонить, – сказал Лучников.

– Хватит выебываться, – перекосившись, сказал Гангут. – Сейчас нас в ГБ поволокут, а мне это совсем некстати.

– Я никому не буду звонить, – сказал Лучников.

– Ты мне все меньше нравишься, Андрей, – вдруг сказал Гангут.

– Это неизбежно, – пробурчал Лучников.

– Тогда я позвоню. – Гангут снял телефонную трубку.

– Положите трубку! – рявкнул дежуривший бэкадешник.

Да, рвение у добровольных карателей было большое, но вот умения еще не хватало. Лучникову не пришлось особенно трудиться, чтобы дать возможность Гангуту позвонить какому-то Дмитрию Валентиновичу и в двух словах описать тому ситуацию.

Физически униженный юный атлет, еще секунду назад казавшийся себе суперсолдатом будущих космических войн за торжество социализма, скорчившись, сидел на полу, когда прибежал запыхавшийся начальник штаба. За ним ввалилась целая толпа студенческой молодежи МГИМО.

– Не трогать! – заорал на них начальник, когда у юношей обнаружилось естественное желание вступить за физическую честь товарища.

Одновременно зазвонили два телефона на столе под портретом Дзержинского. Рухнуло, задетое чьей-то рукой, тяжелое бархатное знамя. Началось то, что в российском нынешнем обиходе называется ЧП, в ходе которого судьба наших героев то и дело менялась с лихорадочной поспешностью. То их тащили в какую-то мрачную, пропитанную хлоркой кутузку и швыряли на осклизлый пол, то вдруг просили перейти в другое помещение, усаживали в мягкие кресла, приносили кофе и газеты. То вдруг появлялся какой-нибудь неврастеник с дергающимися губами, и начинался грубый допрос. То вдруг его сменял приятный какой-нибудь спортсмен-путешественник, угощал их сигаретами «Мальборо», издавала заводил разговор о возможных путях миграции древних племен, о папирусных лодках, о плотках из пальмовых стволов, о «пришельцах».

Вдруг явилась уголовная бригада и начала их фотографировать со вспышками в профиль и анфас. Потом вдруг девушки с невероятно пушистыми, разбросанными по плечам волосами принесли дурно пахнущие котлеты и полдюжины чешского пива. Все время где-то в глубине здания гремела музыка, то патриотическая, то развлекательная, – выборы в Верховный Совет шли своим чередом.

Наконец вошел здоровенный мужлан в кожаном френче, физиономия украшена висащими усами и длинными тонкими бакенбардами, глазища свирепые, но и не без хитрецы. Он протянул обе руки Гангуту и, не получив в ответ ни одной, обнял того за плечи.

– Ну, вот видишь, Виталий, птаха-то наша не подвела, все улажено, – ласково заурчал он. – Все в порядке, незадачливый мой дружина, пошли, пошли...

«Хорошие „дружины“ появились у Гангута», – подумал Лучников. Усмешка не осталась незамеченной и явно не понравилась спасителю.

– Олег Степанов, – сказал он и протянул Лучникову руку, внимательно рассматривая его, даже, возможно, сравнивая с какими-то стандартами.

– Андрей Лучников. – Звук оказался приятным для спасителя. Он улыбнулся и пригласил обоих недавних «provokаторов» следовать за собой. Начальник штаба дружины поспешал рядом, бубнил что-то о недоразумении, извиняясь за горячие свойства молодежи и за тупость стариков-энтузиастов. Он явно не вполне понимал, что происходит.

В машине, а их ждала черная машина с антенной на крыше, Олег Степанов еще раз внимательно оглядел Лучникова и сказал:

– Имя ваше звучит хорошо для русского уха.

– Что особенно хорошего слышит в моем имени русское ухо? – любезно поинтересовался Лучников.

Гангут насупленно молчал, ему, кажется, было стыдно.

– Позвольте, Лучниковы – старый русский род, гвардейцы, участники многих войн за Отечество. – Глаза Степанова сузились, впиваясь.

– В том числе Гражданской войны, – усмехнулся Лучников.

– Да-да, в том числе и Гражданской... – очень уважительно произнес Степанов. – Что ж, это естественно, куда пошло войско, туда пошли и они. А вы, случайно, не родственник тем, островным, Лучниковым? Этот род там процветает – один, кажется, «думец», другой – владелец газеты... Да вы не подумайте, что вас за язык тянут. Виталий меня знает, я не из тех... Лично я только бы гордился таким родством.

Лучников и Гангут переглянулись.

Степанов сидел впереди, повернувшись всем лицом к ним, внимательно их наблюдая, покровительственно и дружественно улыбаясь – два больших желтых зуба виднелись из-под усов. Шофер совершенно неопределенной внешности и телефон в машине неопределенного назначения. «Вот так славянофилишки», – подумал Гангут.

– Андрей как раз и есть тот самый владделец газеты с Острова, – проговорил он.

Тренированный шофер только головой дернул, зато у Олега Степанова глаза выкатились и лицо стало заливаться выражением такого неподдельного счастья, какое, наверное, у крошки Аладдина появилось при входе в пещеру.

С этого момента ЧП стало принимать все более волнующие формы. Вначале они прибыли туда, куда ехали, на завтрак в квартиру, где ждали «русского режиссера» Гангута. Однако через минуту в квартире, где был завтрак этот накрыт, воцарилась немыслимая суматоха – масштабы менялись, завтрак теперь готовился уже в честь огромной персоны Лучникова, творца Идеи Общей Судьбы, о которой московская националистическая среда была, естественно, весьма наслышана. Тут уже пахивало, братцы мои, историей, ее дыханием, зернистой икрой пахивало, товарищи. Завтрак теперь оказался не основным событием, а как бы промежуточным, да и участники завтрака, в том числе и сама всемогущая «птаха» Дмитрий Валентинович, плюгавенький типчик почему-то со значком журнала «Крокодил» в петлице, тоже оказались как бы промежуточными, о чем весьма убедительными интонациями давал понять почетному гостю Олег Степанов.

Телефон звонил непрерывно, в передней толпились какие-то люди, гудели возбужденные голоса. Готовился переезд с завтрака на обед в более высокие сферы.

Обед состоялся действительно очень высоко, над крышами старой Москвы, в зале, которую, конечно, называли трапезной, с иконами в богатых окладах и с иконоподобной портретной живописью Глазунова. Тут были уже и блины с икрой, и расстегаи с вязигой, и поросята с гречневой кашей, как будто на дворе стоял не зрелый социализм, а самый расцвет российской купли-продажи. За столом было не более двадцати лиц, из утренней компании удостоились присутствовать только Дмитрий Валентинович и Олег Степанов, они и вели себя здесь как младшие. Остальные представлялись по имени-отчеству – Иван Ильич, Илья Иваныч, Федор Васильевич, Василий Федорович, был даже один Арон Израилевич и Фаттах Гайнулович, которые как бы демонстрировали своим присутствием широту взглядов по части нацменьшинств.

– Всем народам на нашей земле мы дадим, Андрей Арсеньевич, то, в чем они нуждаются, – мягко, спокойно говорил Илья Иваныч, вроде бы самый здесь весомый. Говорил так, как будто не все еще дано народам, как будто не наслаждаются народы уже шесть десятков лет всем самым необходимым. – Но прежде, Андрей Арсеньич, получит нужное ему основной наш народ, многострадальный русак – и это мы полагаем справедливым.

Все были, что называется, «в соку», от пятидесяти до шестидесяти, о должностях, официально занимаемых, никто не говорил, но по манерам, по взглядам, по интонациям и так было ясно, что должности твердые.

Поднимались тосты за верность. Все тосты были за верность. За верность земле, за верность народу, флагу, долгу, за верность другу. Федор Васильевич предложил тост за русских людей за рубежом, сохранивших верность истории. Все встали и чокнулись с Лучниковым.

Один лишь Гангут притворился пьяным и не встал, но этого снисходительно не заметили – что возьмешь с отвлеченного артиста.

Гангут между тем то и дело бросал другу красноречивые взгляды – пора, мол, линять. Лучников же и не думал линять. Нежданно-негаданно он попал в сердцевину московского «Русского клуба», а упускать такие возможности журналисту уже никак нельзя. К тому же и связь тут с делом его жизни самая что ни на есть прямая. Кто же союзники для ИОСа, если не эти патриоты? И никакие они не юдофобы, не шовинисты, вот, пожалуйста, и Арон Израилевич, и Фаттах Гайнулович за столом. Да и концепция русского народа как жертвы в значи-

тельной степени близка ИОСу, и, если начать разговор в открытую, если, принявшись, мы поведем напрямую разговор о воссоединении, о новой жизни единой России...

Между тем ЧП отнюдь не затихало, а, напротив, развивалось все шире. Лучников не слышал, как в отдаленных комнатах надмосковских апартаментов велись телефонные переговоры, и все по его душу.

ЧП, естественно, не обошло и того учреждения, где существовал специальный «лучниковский» сектор во главе с полковником Сергеевым. Собственно говоря, именно на это учреждение и вышел скромняга-крокодилец Дмитрий Валентинович, именно оттуда и приехала машина с антенной на крыше, оттуда и начальник штаба дружины получал соответствующие распоряжения – как же иначе, откуда же еще?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.